



# Рулетка еврейского квартала

Алла Дымовская

Алла ДЫМОВСКАЯ

**Рулетка еврейского квартала**

«Автор»

2025

**Дымовская А.**

Рулетка еврейского квартала / А. Дымовская — «Автор», 2025

Колесо жизней человеческих обращается вечно и неизменно. Совершить такое круговращение нам дано лишь однажды – прочувствовать радость жизни и боль умирания. Но что, если возможность эта выпала бы нам дважды? Пройти свой путь еще раз, сначала? Исправить былые ошибки, испробовать новые возможности и свести старые счета. Стали бы мы в конце концов счастливее и мудрее? Или же дар свыше обернулся бы трагедией души, преступившей грань реальности и нашедшей за ней лишь собственную погибель?

© Дымовская А., 2025

© Автор, 2025

## Алла Дымовская

# Рулетка еврейского квартала

### Часть первая. ВЗЯЛСЯ ЗА ГУЖ...

**Лондон, Сити, офис «Барклай-банка». 12 февраля 1999 года. Три часа пополудни.**

– Итак, миссис Бертон, если я вас правильно понял, вы желаете перевести всю сумму ваших вкладов на открытый вами новый счет.

– Да, на имя Софьи Алексеевны Фонштейн, гражданки Российской Федерации. Доступ к счету только по предъявлении ее паспорта.

– Простите мое любопытство, но я должен задать вам вопрос, – молодежавый, веснушчатый, застиранного вида клерк через силу улыбнулся и склонился к странной американке, будто желая придать интимность своим словам, – скажите, у вас все в порядке, миссис Бертон?

– В каком смысле? – в ответ так же натянуто улыбнулась миссис Бертон, самоуверенная дама лет тридцати, коротко стриженная и накрашенная с аристократической ненавязчивостью. – Вы имеете в виду, в своем ли я уме?

– О-о! В вашей дееспособности я нимало не сомневаюсь. Но бывают разные случаи. Например, шантаж, похищение или...

– Нет, нет, нет! – со смехом перебила клерка миссис Бертон. – Дело намного проще. Мадам Фонштейн всего-навсего моя сестра, застрявшая в смутной России, и я желаю, одним словом, вернуть ей долг.

– Это очень большой долг, – заметил веснушчатый клерк и перестал улыбаться. – Речь идет о сорока восьми с половиной миллионах английских фунтов. Как вы умудрились задолжать такую сумму, да еще в России?

– Знаете, в нынешней России немудрено задолжать и миллиард. Но здесь долг иного рода. Долг родственный, и я бы сказала, долг совести, – веско и печально ответила крапчатому служителю миссис Бертон. – Впрочем, никакого обмана тут нет. Деньги предназначены именно для моей сестры, и ни для кого иного. Когда вы увидите мою сестру в вашем банке, – а вы обязательно ее увидите, – то все поймете. Мы близнецы.

– А-а! – только и смог выдать из себя молодой человек. Но по его лицу было видно – стражу банковских интересов заметно стало легче. – Наверное, миссис Бертон, вас и вашу сестру связывает многое, если вы решились пожертвовать ей весь ваш капитал.

– Ну, далеко не весь. Ваш банк, хоть и, безусловно, достоин уважения, все же не единственный в мире, где я держу свои деньги, – с апломбом произнесла миссис Бертон и вызывающе тряхнула короткими, крашенными в золотисто-розоватый цвет волосами.

– О-о, мадам, вы так богаты! – с нескрываемым восхищением откликнулся веснушчатый клерк, и его пальцы быстро-быстро забегали по компьютерной клавиатуре. – Ну, что ж, все в порядке... Подпишите здесь... И здесь... Большое спасибо.

– И вам спасибо. Я настоятельно рекомендую сестре ни в коем случае не изымать вклада из вашего замечательного учреждения... Всего хорошего.

**Аэропорт Хитроу. Два часа спустя. Зал пассажиров первого и бизнес-классов компании «Британские авиалинии».**

– Будьте любезны зарегистрировать в багаж вот эти два чемодана. Нет, нет, эту сумку я возьму с собой в салон... Да, да, мое меховое пальто лучше повесить отдельно на вешалку. Кремовый цвет такой маркий.

– Ваш рейс на Москву, миссис Бертон, вылетает через час с четвертью. Желаете отдохнуть? Чай, кофе, газету?

– Нет. Мне, пожалуйста, двойной джин с тоником. Обожаю двойной джин с тоником в это время суток, когда день только переходит в вечер. Отнесите во-он к тому столику. И проводите меня в уборную. Мне просто необходимо освежиться.

**Москва. Аэропорт Шереметьево-2. Тот же день. Девятнадцать часов по местному времени. Зал прилета для «очень важных персон».**

– И еще один вопрос, миссис... Инесс Бертон, – солидного вида пограничник в гражданском неуверенно изучал паспорт американки, английский его был безупречен, но произношение грешило твердым русским «р», – какова цель вашего визита в Москву?

– Исключительно деловая, – не задумываясь, ответила миссис Бертон и улыбнулась во все тридцать два роскошных, безукоризненных американских зуба.

– Ваша виза действительна в течение месяца, – вежливо напомнил пограничник.

– Я знаю. Но вряд ли пробуду в вашей стране столь долгий срок, – и миссис Бертон небрежным жестом взяла отмеченный штампом паспорт. – Я заказывала автомобиль?

– Да, да. Наш служащий вас проводит, – пограничник кивнул в сторону молодой девицы в короткой форменной юбке.

– Это излишне. Я не имею обыкновения теряться. И еще хочу посмотреть, как выглядит русский аэропорт. А вы лучше погрузите мой багаж.

– Как угодно. Черный «линкольн» будет ожидать вас у левого выхода, – привыкший ко многому пограничник пожал плечами. А когда миссис Бертон отошла прочь, многозначительно покрутил пальцем у виска. У богатых, как говорится, свои причуды.

Миссис Бертон между тем уверенным шагом миновала общий зал и, ни у кого не спрашивая дорогу, скрылась в дамском туалете. В кабинке она сняла свое тщательно оберегаемое от грязи кремовое пальто с подкладкой из меха норки и, более не заботясь о его чистоте, кинула на унитазный бачок. Один рукав пальто угодил прямо в переполненную корзину с использованной туалетной бумагой и гигиеническими изгаженными прокладками, но миссис Бертон это обстоятельство ни в какой мере не расстроило. Напротив, она вполголоса, жизнерадостно и весело напевала песню о трех белых конях из кинофильма «Чародеи» и, кажется, плевать хотела на свое драгоценное норковое одеяние.

А после миссис Инесс Бертон повела себя и вовсе странно. Мерно и в ключья разорвала собственный американский паспорт, спустила куски бумаги частями в унитаз. После опустошила небольшую матерчатую сумку, вывалив на крышку унитаза непрезентабельную спортивную куртку, вытертые джинсы и кроссовки. И наскоро переделалась. Волосы забрала под яркую косынку, повязав ее на манер банданы. Потом уложила обратно в сумку модельные сапоги от «Гуччи», последний писк моды, с боем добытый в «Саксе», дорожный костюм и шаль. Сумку миссис Бертон равнодушно засунула под бачок унитаза. Потом пересыпала содержимое другой, дамской кожаной сумочки «Шанель», тоже цвета «беж» с золотой отделкой, в полиэтиленовый пакет с рекламой кока-колы. Косметику миссис Бертон запихнула как попало, а бумаги сложила с завидной аккуратностью. Некоторую упитанную сумму в наличных долларах положила в потайной карман сине-серой куртки. После ненужная уже бежевая «Шанель» отправилась в компанию к пальто. А миссис Бертон стала наводить макияж, столь яркий и нелепый, что он за версту сразил бы своей безвкусицей и продавщицу южнорусского сельпо. Зато лицо миссис Бертон под этой клоунской маской стало вовсе неузнаваемым.

А миссис Бертон, перекрестившись, опустилась на колени и заглянула снизу в соседнюю кабинку. Убедившись, что та пуста, как летняя баня зимой, миссис Бертон довольно ловко протиснулась низом в незанятый туалет и как ни в чем не бывало открыла дверцу и вышла вон.

Не дойдя до правого выхода, миссис Бертон на чистейшем русском языке обратилась к дежурным частникам-таксистам:

– Эй, братцы, кто до ВДНХ подбросит?

– У тебя деньги-то есть, чучело? – с усмешкой отозвался один из водителей.

– Ага, но только в баксах, – белозубо улыбнулось чучело, недавно еще именовавшееся миссис Бертон.

– Ну-ка, покажь! – потребовал таксист.

– Вот, – и миссис Бертон вытащила из карманов смятую кучку банкнот. – Баксов сто наберется, если считать с фунтами.

– Не фальшивые? – на всякий случай спросил водила.

– Не-а, я же только прилетела, – как бы в оправдание сказала миссис Бертон.

– Прилетела она! А багаж где? – недоверчиво спросил дотошный таксист.

– Какой багаж! В чем есть еле-еле ноги унесла. Говорил, что замуж, а сам в домработницу превратил, жмот поганый!.. Отвезите, дяденька, ну, пожалуйста! – И миссис Бертон приготовилась натурально заплакать.

– Ладно, не реви. Эх, бедолага! – посочувствовал ей водила. – Пошли, что ли? От ВДНХ тебе куда?

– На Бориса Галушкина. Знаете? – заискивающе поинтересовалась миссис Бертон.

– А то! – гордо заверил ее таксист. – У меня там рядом золовка живет.

И миссис Бертон мелкой рысцой затрусила рядом с широкоплечим дядькой-таксистом, с королевским достоинством вышагивающим по вестибюлю родного аэровокзала к выходу.

Надо ли говорить, что лимузин с шофером и багаж с бирками в этот вечер никакую миссис Бертон в Шереметьево не дождалось. Милиция, конечно, нашла вскорости и пальто, и сумки, и шаль. Все, за исключением самой миссис Бертон. Пропавшую американку тут же объявили в розыск, но совершенно безуспешно. Показывали ее фото и таксистам. Но те в один голос отвечали, что такой шикарной бабы и в глаза не видели, а если бы увидели, то уж наверняка бы запомнили. Через полгода поиски заглохли сами собой. Тем более что из-за океана никто о судьбе пропавшей миссис не поинтересовался и претензий не предъявлял. А спустя еще некоторое время пограничники в службе аэропорта уже и сомневались, была ли миссис Бертон вообще, или это им только привиделось.

**Москва. Высотный дом на улице Бориса Галушкина. Пятый этаж. В это же время.**

Соня стояла у окна. В кухне. И безнадежным взглядом смотрела на укутанный грязным снегом двор. Димка наконец заснул у нее на руках, боли в животике, слава богу, прекратились. Держать Димку было тяжело. Хоть и не очень упитанный, трехлетний сынишка весил немало, и руки у Сони скоро затекли до судорог. Тогда она осторожно, бесшумно скользя по крытому линолеумом полу, прошла в единственную комнату их квартиры и с бережной аккуратностью положила ребенка в деревянную решетчатую кроватку. Димка не проснулся, только сморщил носик. Соня на всякий случай пристроила рядом на подушке плюшевого коричневого чебурашку, любимую игрушку сына.

Не то чтобы Соня была идеальной матерью – по правде говоря, матерью Димки она ощущала себя в малой степени. Но внешние поступки ее, именно как идеальной матери, являли собой обязательную часть полученного воспитания, как и непререкаемое в их семье, предписанное вековой традицией поведение. Дань этой традиции отдавалась Соне так тщательно и так привычно, что она давно уже не нуждалась в зрителях со стороны. И поведенческие пред-

писания ее, как матери Димки, не нарушались Соней даже наедине с собой в абсолютно пустой квартире. Когда она склонялась над сыном, лицо ее замирало в торжественной маске любовного упоения. А самое слабое движение Димки вызывало выражение беспокойства. Что при этом чувствовалось Соней в глубине души, оставалось лично ее делом.

Уложив ребенка, Соня вернулась на кухню. И снова стала у окна. Спешить ей было некуда, делать особенно было нечего. Ужин стоял в холодильнике еще со вчерашнего дня – куриный суп с вермишелью и котлеты с гречкой, их нужно лишь подогреть в последний момент. В квартире стерильная чистота. Да и много ли хлопот с уборкой в тридцатиметровой однокомнатной малогабаритке? На работу Соня не ходила уже четыре года, но иногда еще читала профильную литературу, хотя и не видела в том большого смысла. А ведь закончила пединститут имени Крупской и согласно диплому могла преподавать романо-германскую филологию, то есть учить детишек французскому, немецкому или английскому языкам. Но Соня никогда и ничему никого в жизни не учила. И дипломом воспользовалась лишь однажды. В те стародавние и неправдоподобные два года, когда она работала переводчиком в русском отделении журнала «Лайф». И получала по тем временам сумасшедшие деньги, целых пятьсот долларов в месяц.

Но теперь она мать Димки – и все, на этом точка. Ее желания никто не спрашивал. Не то чтобы Лева, ее муж, был таким уж страшным домашним тираном. Если говорить начистоту, никаким тираном он сроду себя не являл, а вот домашним был, и даже очень. И, конечно, традиция. Раз уж мужу добавляет жизненной уверенности тот факт, что жена его исключительно сидит дома на хозяйстве, то так тому и быть. А Лева мог воображать себя кормильцем и защитником семьи только подле зависимой от него домашней женщины, и никак иначе. Ему органически было необходимо в собственном существовании в роли отца и мужа иметь в качестве фона беспомощную в материальном смысле жену, как и постоянно выслушивать себе похвалы за самоотверженные труды и заботы о благе близких. На взгляд же Сони, муж ее был совершеннейшая тряпка. Утешало лишь то обстоятельство, что эта тряпка, похоже, действительно ее любила. Чего ни в коем случае нельзя было сказать о Соне. Если она когда-либо и задавала себе вопрос, зачем, собственно, она вышла замуж за Льва Романовича Фонштейна и родила от него сына, то ответ находился только один. Так было нужно, потому что такова традиция. Девушка из приличной еврейской семьи должна выйти замуж за мальчика из семьи, по возможности, еще лучшей. А у Сони по еврейской линии не все выходило чисто. Она была полукровкой, то есть по матери она являлась полноценной еврейской девушкой с возможностью израильского гражданства. А вот по отцу! Да, в этом смысле предельно русский, как Иван Сусанин, инженер-эксплуатационщик Одесского порта Алексей Валентинович Рудашев явно подкачал. И за давнюю материнскую вольность теперь расплачивалась она, Соня. Бабушка встала на дыбы и категорически приказала выходить замуж, не раздумывая. Больше такая партия может и не подвернуться. Грешные папа и мама Сони, зная за собой вину, промолчали. И Соня вышла замуж за Леву Фонштейна. Ослушаться бабушку она не посмела.

И вот, пожалуйста, великолепный жених превратился в тяжкую обузу, хронического, как запойный алкоголик, неудачника, которому, чтобы не сойти в этой жизни с ума, требовались неизменные аплодисменты со стороны Сони. А за что было аплодировать? Да, диплом медицинского института, да, хирург-ортопед. И вот уже пять лет не знает, как выглядят больные, и никого не лечит. Само собой, Лева хотел многого. Но раз уж блестящий хирург из него не получался, а посредственным Левина семья не желала его видеть, то оставалось одно. Идти в коммерцию. Куда же еще идти еврею, если все остальные пути в жизни блистательного будущего не сулят? И Лева пошел. Коммерсант из него состоялся еще худший, чем ортопед. Пять лет пытался Лева доказать себе и всем Фонштейнам обратное, но безуспешно. Теперь время было упущено, медицинская специальность позабыта и в хорошую клинику его не взяли бы ни за какие коврижки. Ни в Москве, ни за рубежом. Идти же в обычные районные хирурги Лева

не позволяла гордость, да и платили там копейки. Правда, на нынешней работе Лева получал немногим больше. Служил он в торговой фирме «Гиппократ» менеджером на проценте и должен был продавать немецкие протезы различных конечностей. Другие его коллеги-менеджеры зашибали на этом неплохие деньги, протезы были нужны, особенно в стране, ведущей постоянные боевые действия. Но Лева не везло, вернее, так он сам пытался найти оправдание своим малым доходам. А правда заключалась в том, что Лева попросту не годился для этой работы. Он не умел крутиться, не умел унижаться и просить, не умел толкать соседа локтем. Если бы не постоянная финансовая помощь из Одессы от русского Сониного отца, молодые Фонштейны ни за что бы не свели концы с концами.

Вот и сегодня, спустя каких-нибудь полчаса, Лева откроет дверь своим ключом, войдет нарочито веселый, с тоскливыми собачьими глазами, поцелует Соню, спросит про Димку и заискивающе-оптимистично произнесет опостылевшую уже фразу:

– Чем наша мамочка будет кормить папочку?

Как будто в их доме выбор был велик. Все мало-мальски приличные продукты шли в пользу Димки. А как же! Все лучшее в первую очередь ребенку. Жаль только, что Сониного детства это не касалось. Ее баловать не полагалось, и бабушка строго за этим следила. Будь она проклята – мерзкая, жестокая ханжа! Будь она проклята в своей Америке!

И вот теперь Соня ест опостылевшую курицу, варит, парит и жарит курятину, крутит котлеты из синих пупырчатых кладбищенских кур. И, кажется, будет есть этих кур до конца своих дней. И всякий раз, накрывая на стол с радостной улыбкой, призванной обозначать бог весть какую дурость, она люто ненавидела и Леву, и этот дом, и собственную судьбу. В такие минуты Соне определенно казалось, что самым значимым событием в ее жизни будет ее же собственная смерть!

Она стояла и смотрела на укутанный грязным снегом двор. Такой загаженный снег может быть только на погосте, когда через него прошла немецкая зондеркоманда. Но что же прошло через ее жизнь? Какие части СС оставили на ней выжженное поле, на котором уже никто ничего не посеет, на котором уже кощунственно даже хоронить? Где та точка разрыва, что обратила жизнерадостную, здоровую девушку в жалкое подобие автомата, выполняющего бессмысленную программу? Соня, к несчастью, знала об этой точке все. И знание это только увеличивало ее мучения. Уж лучше бы ей выпало так же счастливо, как и ее Лева, винить во всем судьбу. Но судьба в ее случае осталась ни при чем. Соня была виновата сама и знала, в какой момент сдалась и позволила надеть на себя ярмо.

**Одесса. Улица Чкалова. 1 мая 1984 года. Пятнадцать лет до описываемых событий.**

Соня шла по двору счастливая как никогда. Потому что шла не одна. А с Гришей Крыленко, высоким, неуклюжим, вечно молчаливым парнем, которого в школе за угрюмо-отстраненное выражение лица прозвали Хмурое Утро. Но Соня-то знала, что прозвище это несправедливо. И что на самом деле Гриша славный и замечательный, только не любит выказывать свои эмоции на людях. И уж тем более неуклюжесть Гриши – лишь кажущееся его свойство. Потому что Гриша Крыленко, несмотря на свои пятнадцать лет, уже имеет первый разряд по вольной борьбе. Говорить с Гришей было, правда, особенно не о чем, но Соне это и не требовалось. Гриша, такой надежный и уютный, одним своим присутствием доставлял Соне удовольствие. Правда, с сегодняшней демонстрации он впервые провожал Соню до дома. А так, до этого дня, он просто смотрел на Соню, иногда подходил в классе и на перемене поближе и стоял молча, бросая в ее сторону красноречивые взгляды. А сегодня вот попросился ее проводить. Впрочем, идя рядом с Гришей, Соня остановила себя в поспешном суждении, что Гришино молчание происходит от застенчивости, а на самом деле с ним очень даже можно будет разговаривать о многих вещах, когда он освоится с ее присутствием.

Вообще-то Сою сегодня первый раз в жизни провожал парень. Нет, и до этого ей случалось ходить из школы в компании ребят, но с ней обязательно были и девочки-подружки. А теперь Соня шла рядом с Гришей Крыленко и чувствовала себя при этом почти взрослой. Соня была стройной, но и крепкой девушкой, не падкой на болезни, не низкой, не высокой, а скорее среднего роста. Рядом с Гришей она казалась даже маленькой. У Сони не наблюдалось и так называемой ярко выраженной «еврейской» внешности – сказывались спасительные здоровые гены ее отца, не ущемленные многократным внутрисемейным скрещиванием. Синеглазая шатенка, Соня могла бы считаться и красавицей, если бы не излишне полные щеки и губы, но и при этих несущественных недостатках она была хороша. И, главное, прямой, самую малость тяжеловатый нос ее не имел излишней длины, чем грешили все представители семейства Гингольдов, и даже ее мама не избежала этого весомого атрибута своей весьма привлекательной внешности. В общем, у Сони присутствовали все качества, необходимые для того, чтобы нравиться не только Грише Хмурое Утро, но и многим другим парням. Но в день Первомая Соне хватало и Гриши.

Тогда, в свои пятнадцать лет, юная Соня была навечно и бесповоротно уверена в том, что завтрашний день ожидает ее в счастливом приветствии, и все другие, грядущие дни ее жизни тоже непременно сулят ей счастье. Но день, когда она шла рядом с Гришей Крыленко по прозвищу Хмурое Утро, был последним днем, когда Соня еще думала так.

Шагая рядом с первым своим «всамделишным» парнем, Соня каждым кусочком собственной души ощущала весну и праздник, и лишь одна легкая тень мешала ей полностью наслаждаться действительностью. И все оттого, что бабушка, как обычно, приехала на эти краснокалендарные дни из Москвы. Вообще, бабушка наезжала в Одессу очень часто и не одна, а с дедушкой и Сониным дядей, маминым братом Кадиком, по паспорту Аркадием Гордеевичем. Но бабушка называла младшего сына только ласковым именем «Кадик» и каждый раз приторно щурила змеиные глаза. А к Сониной маме она обращалась холодно и просто – «Мила» и чаще всего поджимала узкие, сухие губы. А ведь у мамы было такое красивое имя – Милена, и называть ее бабушка могла и Милочкой, и Миленочкой, и Миленькой, как всегда называл любимую жену Сонин папа. Но у бабушки находилось для дочери только короткое и суровое «Мила», нарочно отчеканенное в каждой произносимой букве.

Иногда самой Соне казалось, что бабушка специально приезжает в Одессу и живет в их доме иногда и по месяцу исключительно для того, чтобы доставать ее, Сою. С годами это подозрение только укрепилось. Над мамой бабушка уже не имела видимой власти, у дочери был муж и собственный дом, и ни тот ни другой бабушке не нравились. Но идти на конфликт против двоих, которые суть одно, бабушка все же не рисковала. Она вообще никогда не рисковала, ее абсолютный эгоизм составлял ее вторую натуру. Но что-то необходимо было делать и с подспудным желанием мучить и унижать, потому бабушке приходилось выискивать себе новые жертвы. С дедушкой Гордеем тешить свои садистские наклонности получалось для бабушки опасным, а Кадика она давным-давно подмяла под себя, и он, послушный ей во всем, даже не понимал, что исполняет роль собаки Павлова. Маленькая Соня оказалась для бабушки самой подходящей кандидатурой. Но и Соня могла сопротивляться. Тогда еще могла. Но для этого ей нужно было сделать правильный выбор.

А дело заключалось в том, что Соня всю ту свою прежнюю жизнь как бы разрывалась между двумя мирами. С одной стороны стояли непробиваемой стеной ее еврейские родственники, которых она не любила, но весьма ощутимо побаивалась. С другой был папа Леша, весельчак и широкая душа, его многочисленные приятели, их жены и дети, и со всеми ними Соне хотелось дружить и общаться. Но папа, словно маленький мальчик, укравший конфету, сам тушевался в присутствии еврейской родни, смотревшей на него явно свысока. Мама же в противостояние старалась не вмешиваться и находилась как бы посередине, ей и без того было несладко. Бабушка кого угодно могла заставить почувствовать себя виноватым, а уж дочь,

вышедшую замуж против ее воли, да еще за русского, и подавно. Теперь очередь получалась за Соней.

Бабушка и раньше всегда навязчиво диктовала Соне правила поведения, и в ее нотации родители отчего-то не вмешивались. Видимо, не хотели скандалов и истерик, бабушка запросто могла закатить и то и другое. Соня ела не так, ходила не так, вела себя вызывающе, одевалась неподходящим образом. Будь над ней полноценная бабушкина воля, Соня ходила бы в глухих темных платьях до пят, днями бы корпела над учебниками и нотами, а все остальное время выслушивала бы нравоучения о своем поведении. Любой поступок Сони, который бабушка не одобряла, тут же приписывался дурной наследственности, с явным намеком на некоего Алексея Валентиновича Рудашева, и требовал немедленного искоренения. Так, на время бабушкиного приезда с глаз долой прятались конфеты, джинсы и книги легкого чтения. Соне полагалось суровое воспитание. Утешало только то обстоятельство, что окаянная, плаксивая еврейская чума рано или поздно уезжала в свою Москву, и семья Рудашевых могла далее воспитывать ребенка на свой лад.

Первый запомнившийся Соне многозначительный конфликт случился, когда ей было двенадцать лет. В то лето в Одессу с гастрольями приехал настоящий «никулинский» цирк с Цветного бульвара, и папа, имевший приятелей во всех значимых точках города, достал на представление аж пять билетов – один для Сони и еще четыре для детей своих друзей. Папа Леша, всегда зарабатывавший в порту более чем достаточно, и в виду не имел получить обратно деньги за купленные билеты. Он вообще любил делать щедрые подарки, и за это его самого любили многие. Соня с четырьмя другими детьми пошли на представление и были от него в совершеннейшем восторге. А на следующий день началось. Утром за завтраком бабушка сурово спросила ее:

– Соня, ты получила с детей деньги за билеты? С каждого – по два пятьдесят. Всего должно быть десять рублей.

Соня чуть не подавилась говяжьей печенкой и пюре и, широко раскрыв глаза, уставилась на бабушку. Родители сидели тут же за столом и напряженно молчали.

– Софья, я тебя спрашиваю, ты получила деньги за билеты?

Соня испуганно и отрицательно замотала головой, печенку ей никак не удавалось прожевать, и рот ее был занят.

– Безобразие. О чем ты думала? Сегодня же собери с детей деньги за цирк, – бабушка так и сказала «деньги за цирк», и Соня запомнила это выражение на всю жизнь. – Не хватало нам еще благотворительности! А родители тоже хороши, надо было каждому ребенку дать деньги в конверте. Но что с них взять, если...

Дальше Соня уже не слушала, это была знакомая давнишняя песня о русской безалаберности и желании сесть на шею несчастным евреям. При чем тут получались евреи, Соня не понимала – ведь билеты купил ее русский папа на свои собственные русские деньги. А если друзья Сони желали сесть ей на шею, так Соня совсем ничего не имела против. Но бабушке нельзя было возражать. Никто и не возражал.

Конечно, ни с кого собирать «деньги за цирк» Соня не собиралась. Она решила, что назавтра бабушка обо всем забудет, и конфликт исчерпается сам собой. Но не тут то было. Каждое утро начиналось одинаково, с вопроса, вытребовала ли Соня со своих друзей деньги. И каждый день Соня придумывала новые отговорки и получала новый нагоняй, пока отцу все это не надоело, и однажды, придя с работы, он потихоньку сунул дочери в руку деньги – четыре раза по два пятьдесят и сказал только:

– На, отдай ей! – и сморщился, как от зубной боли.

Соня предъявила бабушке деньги, и та, слава богу, отстала. Соне изначально неведома была причина, почему бабушка прицепилась именно к ней, а не обратилась с этим вопросом к отцу. Видимо, в своем воображении она рисовала сладостные картины Сониного унижения по

ее воле, когда девочке пришлось бы объясняться и выпрашивать нелепые «деньги за цирк». И так ли уж важны были эти деньги? По бабушкиным словам выходило, что важнее денег ничего на свете нет. Соне это казалось сомнительным утверждением.

А вот теперь, идя рядом с Гришей, юная Соня думала, что скоро удовольствие от прогулки закончится и у подъезда надо будет прощаться. О том, чтобы привести в гости Гришу, сына неподходящих родителей: спортивного тренера по плаванию и повара из столовой «Совфрахта», к тому же чистокровных украинцев, при бабушке не могло быть и речи. И Соня утешалась тем, что до ее подъезда еще целых пятьдесят метров. Однако прогулке и удовольствию выпало закончиться значительно раньше. По двору, ворча себе под нос, в обществе кошелки с пустым бидоном для кваса и пива, шла бабушка. Видимо, напрочь забыв, что сегодня для всех выходной день, старая дура отправилась на угол к бочке за молоком и теперь выражала недовольство всем на свете. И тут прямо перед собой бабушка узрела новый, свежайший повод для возмущения.

Нимало не заботясь о том, что ее могут услышать соседи и вообще весь двор, бабушка забилась в истерике. На «гоев» ей было наплевать, а «аиды», проживающие в доме, непременно одобрили бы, на бабушкин взгляд, ее поведение.

Соня и Гриша, будто пораженные внезапным столбняком, стояли перед орущей до появления пены бабушкой, а та поносила на все лады Соню и ничего не понимающего Гришу, и выкрики ее делались все более оскорбительными.

– Ах ты, дрянь такая! Мерзавка! Ахунэ! – кричала бабушка, а Соня уже знала, что слово «ахунэ» означает на идише проститутку. А потом на Гришу: – Пошел отсюда! Пошел отсюда! Грязный байстрюк! Пошел прочь!

Бабушка замахнулась на Гришу кошелкой с бидоном, и парень растеряно отступил назад. Тут Соня, чуть не плача от обиды и несправедливости, попыталась как-то успокоить разбушевавшуюся фурию:

– Но, бабушка! Мы же просто гуляли!

– Я тебе больше не бабушка! Шалава! Гуляла она! В подворотне сдохнешь! – зашлась в крике старая карга.

И тут произошло страшное и непоправимое. Бабушка подняла толстую, дряблую, дебелую руку и потной ладонью с размаху ударила Соню по лицу. До этого дня Соню никто и никогда не трогал даже пальцем, и девушка на миг остолбенела, не зная, что ей делать и как понимать произошедшее.

Это и был тот самый переломный момент, который и предрешил всю дальнейшую Сонину жизнь. Перед ней лежали два пути. Она могла послать свою ненавистную бабулю подальше и пойти на скандал, высказать все, что она думает о бабушке, о ее евреях и родственниках, и определить себя, так сказать, на русскую сторону баррикад. И добиться того, чтобы старая стерва ее убоилась, поставила на внучке крест и отстала бы навсегда. И Соня могла пойти по другой дорожке, согласиться со своей виной и признать справедливость бабушкиных истерических воплей, снести оплеуху и тем самым оказаться в пожизненном еврейском рабстве у лицемерной и злобной ханжи. В тот миг все было в Сониной власти. И она избрала второй путь. От внезапного страха жестокой борьбы, возможно, и от неопытности, но Соня сдалась. И, низко опустив от стыда голову, позволила бабушке утащить себя за руку домой. Гриша тоже ушел, ни слова не сказав на прощание. И более уже никогда к Соне в школе не приближался. И никто не приближался. Видимо, история стала всеобщим достоянием.

А дома бабушка продолжила исполнение своих бешеных арий. Родители, дедушка и дядя Кадик слушали ее не перебивая – и что Соня отбилась от рук, и что она позорит семью, и что, если не взять ее в ежовые рукавицы, непременно принесет в подоле, и что если отец с матерью не в состоянии как следует смотреть за дочерью, то она, бабушка, примет эту нелегкую обязанность на себя. Все молчали, молчала и Соня. И бабушка порешила, что забирает внучку

на следующий учебный год в Москву, подальше от всяких разных и так далее... Никто с ней не спорил, никто даже не осмелился возразить. И Соне оставалось только принять свою новую участь.

**Москва. Улица Бориса Галужкина. Пятый этаж. 12 февраля 1999 года. 19:30 по московскому времени.**

Соня с усилием отделила себя от тягостных воспоминаний. Снова стала смотреть в окно на укутанный грязным снегом двор. Она ждала знакомого поворота ключа в замке входной двери, и ждала со свинцовой безнадежностью каторжника, приговоренного к своим цепям без суда. Жизнь как бесконечное наказание, завтра, похожее на вчера, ненужное и тошнотворное, одинаковое даже в обязательной разнообразности повторения. Боже, да что же я тебе сделала! Старалась не грешить и соблюдала твои законы, исполняла все, что требовалось и зависело от меня самой. Так почему, почему же? Ты скажешь, что я сама виновата, и ты будешь прав. Надо было в тот роковой день и час постоять за себя и не позволить калечить собственную судьбу. Остаться в Одессе с папой и мамой и объяснить, что ни на ком из них нет вины. И выйти замуж за Гришу Хмурое Утро. Говорят, он давно бросил свою вольную борьбу, отслужил в армии, поступил на юридический. А потом надел форму офицера таможенной службы. И теперь у него собственная фирма по «растаможке» иномарок. Жена и сын, которые каждое лето отдыхают за границей и никогда не едят «синих» кур. Вот так... Но дай, господи, и мне второй шанс, иначе твоей Соне никогда не вырваться, помоги и подсоби, упокой в своей руке или протяни хотя бы мизинец! Нет больше сил жить в этом проклятом еврейском мире, принадлежать к детям Сиона и чувствовать невозможность с ними сосуществовать. Вариться с этим котле бесконечной еврейской свары, с временным перемирием на чьих-нибудь похоронах. Я здесь чужая, и я все здесь ненавижу до желания смерти. Ненавижу эти манерные пересуды, чванливость и запуганность, разбавленную исподтишка проглядывающей наглостью. Ведь отдельного еврея в природе не бывает – он или растворен в массе, или вне ее, как вождь, либо как враг. Но евреи кроют последними словами и вождей, и врагов равно одинаково.

Соня задохнулась и открыла настежь окно. По лицу ее текли слезы. Бог ее не слышал, и никакого выхода видно не было. А в замке тем временем заскрежетал ключ. И Соня подумала, что если еще хотя бы один раз прозвучит мерзопакостный вопрос, чем мамочка будет кормить папочку, то она немедленно сойдет с ума. Только не оборачиваться. Соня поднялась на подоконник. Еще секунда – и дверь откроется. Но Соня решила не дожидаться этой секунды. В последний момент она вдруг вспомнила, что теперь непременно попадет на веки вечные в ад. Но это ее не взволновало. Она была согласна и на ад, только бы подальше отсюда. Все равно, хуже не станет. И Богу она, наверное, не нужна. Ни еврейскому, ни христианскому, никакому. И Соня шагнула с подоконника в пустоту. Осталась наедине с ощущением полета, а потом случился удар, и в глаза ей нахлынул яркий свет.

**Одесса. 1 мая 1984 года. Газон перед зданием Оперного театра. Время до полудня.**

Случился удар, и в глаза Соне нахлынул яркий свет.

– Девочка, ты не ушиблась? – прозвучал над ней приятный старческий голос. И Соня решила, что обманулась и попала в рай к ангелам.

Ей даже не было особенно больно. Только ныли ушибленные коленки, отчего-то голые. А в раю на первый взгляд показалось очень ничего себе. Вокруг зелень, солнце и милый старичок с седыми, редкими усиками, в белом костюме, как и положено принимающей ангельской стороне. Вот только непонятно, зачем ангелу в руке журнал «Здоровье»? Или в раю тоже с самочувствием бывает не все в порядке? Тоже ведь люди, вернее, тоже ведь живые существа.

– Вставай, деточка, вставай, нехорошо сидеть на земле. Можно косточки застудить, – все так же ласково говорил седой ангел, протягивая Соне тонкую, ухоженную, в старческих крапинках руку.

Соня оперлась на ладонь ангела и поднялась с земли. А в раю, оказывается, тоже есть сила притяжения! Впрочем, Богу виднее, как должно выглядеть его хозяйство. Вокруг Соня уловила пестрое, праздничное движение, играла музыка – военный марш «Прощание славянки». Странно, рай и вдруг «Прощание»!

– Деточка, ты из какой школы? – неожиданно спросил ангел.

– Что? – не поняла его Соня и несказанно удивилась. Какая еще там школа может быть в раю? Впрочем, не все ли равно, раз Бог ее простил и даже приставил к ней заботливого ангела.

– Учительница твоя где? Демонстрация уже кончилась. Детишки по домам расходятся, – пояснил приятный старичок.

И Соня огляделась и увидела перед собой здание Оперного театра, гордость Одессы, и море вдалеке, и корабли на рейде, и поняла, что ни в каком она не в раю. А в родной своей Одессе, и что этого не может быть никогда. Потому что Соня Фонштейн минуту назад умерла и лежит теперь на снежном погосте во дворе собственного дома с раздробленными костями и переломанным позвоночником.

– Деточка, ты не заболела? – опять участливо спросил старичок-не-ангел и взял Соню за локоть. – Может, позвать кого? Где ты живешь?

Соня посмотрела на старичка, вполне живого, почувствовала прикосновение его теплых хрупких пальцев и подумала, что мертвой она быть никак не может. Не получается. И тут увидела себя. Сверху вниз. Увидела синюю старомодную юбку «годе», нарядные белые туфли с пуговками, югославские, бывшие в ходу лет пятнадцать назад, и, кажется, что-то начала понимать.

– Простите, пожалуйста, – обратилась она к старичку не своим полудетским звонким голосом, – вы не могли бы дать мне на секундочку посмотреть ваш журнал?

– Таки мог бы, – совершенно по-одесски ответил старичок и протянул Соне свернутое в трубочку периодическое издание.

Соня развернула обложку «Здоровья» и прочитала дату «апрель, 1984 год».

– С запозданием приносят, – пожаловался ей старичок. – А там новая статья за радикулит.

– Спасибо вам. И с праздником. А я пойду. Меня одноклассники ждут, – торопливо распрощалась с вежливым старичком Соня, отряхнула с туфель и юбки приставшую землю с газона и пошла, побежала прочь.

Через пару десятков метров Соня, однако, перешла на шаг. Во-первых, в толпе бежать было неудобно, а во-вторых, недавний шок отпустил ее и позволил думать. Значит, если она не умерла и не сошла с ума, то вот таким выглядит ее второй шанс. Что же, она просила у Бога помощи и получила ее. Соня на всякий случай проверила. Если она не спит под наркозом на операционном столе в Склифосовского, то ощущение должно соответствовать реальности. Разбитые коленки саднило, но Соня нарочно споткнулась и упала еще раз, теперь уже на асфальт, получилось больно. Потом пристально посмотрела на солнечный, яркий диск и немедленно ослепла от резей в глазах, тут же потекли слезы. Нет, солнце явно натуральное, и сочащаяся из коленок кровь тоже не подделка. Остановилась у бакалейной витрины, оглядела себя с ног до головы. Да, пятнадцатилетняя девчонка в белой блузке с комсомольским значком и знакомой из детства синей юбке, в капроновых чулочках со швом. А на руке японские контрабандные часики – подарок отца на прошлый день рождения. Надо же, и коса на месте, аккуратно уложенная на затылке!

Итак, вот она снова в 1984 году, и снова Первое мая. Только на этот раз Соня одна, и никакого Гриши Крыленко рядом нет. Ей пятнадцать лет, и она возвращается со школьной демонстрации. Так-то оно так, да только, по существу дела, вовсе ей, Соне, не пятнадцать, а

тридцать, а скоро будет и тридцать один. И получается, что тело ее молодо и ново, а душа все та же, и память, и прожитые годы в ней. Что же, тем лучше, зато теперь она не растеряется, знает, что делать. Господи, как же тебя благодарить? Вот это чудо из чудес! Это шанс! Ни у кого нет, а только лично у нее, у Сони! Ради такого стоило страдать и прыгать в отчаянии с подоконника. Какая замечательная, свободная, прекрасная и мудрая жизнь отныне будет у нее! Заново все отстроить, заново определить и, изорвав негодный черновик, стать счастливой! Соня в нетерпении подпрыгнула на месте, с ловкостью непоседливой козы притопнула ножкой.

Однако болтаться по улицам было глупо, да Соня и проголодалась. Следовало идти домой, на улицу Чкалова и приступать к новой жизни немедленно. Ага, да ведь сейчас на Чкалова ее гнусная бабка прется с пустым бидоном. Интересно, каково выйдет старой карге очутиться лицом к лицу не с наивной школьницей-внучкой, а с гневной тридцатилетней Немезидой, у которой имеется длиннющий счет и наточенный зуб-кинжал? Соня аж зашлась в счастливом смехе. Бабка еще не успела капитально нагрешить, а ей уже придется платить за прошлое, которое она не совершит. Ну да! А из-за кого в конечном итоге Соня прыгала из окна, из-за кого, спрашивается, она вообще вернулась в свои пятнадцать лет? Тут не одни только радости. Заново сдавай выпускные экзамены, заново поступай в институт. Да все равно. Жаль только, что подле нее не идет Гриша Хмурое Утро. Где его сейчас искать, Соня не знала, но это не имело значения. Бабке она с сегодняшнего дня и без того задаст. Загонит под лавку и заставит скулить. Пусть только тявкнет. Соня ей покажет, что значит настоящая истерика. После пережитого полета Соне Рудашевой уже ничто не страшно. Ой! Она же теперь снова Рудашева! Нет никакого Левы, нет никаких идиотских вопросов, и никакого Димки тоже нет. Она совершенно свободна, сильна и даже – ура! – знает будущее! Никакой отныне романской филологии, она выучится на юриста или плановика-бухгалтера и будет вместе с папой работать в порту. Это же золотое дно при рыночной экономике! И никаких кур, чтоб им всем передохнуть! Теперь скорей, скорей домой! От нетерпения Соня опять перешла на бег.

Так, осталось повернуть за угол, и все. За углом новая жизнь и новое время. И завтра же она сама первой позвонит застенчивому борцу Грише и пригласит его гулять на Шестнадцатую станцию. Там дача у Курлыкиных, самых близких папиных друзей, и можно будет зайти потом в гости. А еще лучше заставить, уговорить маму и папу ехать тоже, и даже дедушку Годю. А бабка пусть сидит одна во дворе со своим хилым Кадиком и жалуется соседкам на неблагодарных детей. Пусть!

Тут полет Сониной разгулявшейся счастливой фантазии остановил истошный крик. Соня замерла, как окаменевшая жена Лота, за угол она повернуть так и не успела. И хорошо, что не успела. Потому что со стороны ее двора и подъезда доносился знакомый истеричный голос, грубым консервным ножом резанувший ее возбужденный мозг.

– Мерзавка! Ахунэ!

Этот вопль нельзя было перепутать ни с чем. Соня осторожно выглянула из-за угла, краем сознания уже начиная прозревать страшную правду. И увидела сначала нелепую, растерянную фигуру Гриши Хмурое Утро, а потом и себя. В синей юбке и белой блузке. И досмотрела спектакль до конца.

Вот бабушка замахивается бидоном. Вот Гриша отступает назад. Вот бабка хватает ту, другую Соню за руку и с мстительным выражением на жирном лице тащит к подъезду. Вот прямо на нее идет, шатаясь, словно пьяный, и ругаясь сквозь зубы, Гриша Крыленко. Соня едва успела отпрянуть в тень. Гриша прошел мимо, даже не взглянув в ее сторону. И правда чего ему глядеть! Его Соня осталась там, позади. И навсегда.

Вот оно значит как! Бесплатный сыр бывает лишь в мышеловке. И эта мышеловка только что захлопнулась за Сонею Рудашевой.

Соня очнулась уже на бульваре. Французском, а ныне Пролетарском. Том самом, из песни, будь он неладен. Нельзя сказать, чтобы она стремилась именно на бульвар, под сень

каштанов, а просто шла, куда ноги несли, и вот пришла. Села на угол длинной скамейки, единственно свободный, какой удалось сыскать. И призадумалась, пригорюнилась. А после ужаснулась. Нет, на божественный подарок и отпущение грехов ситуация никак не была похожа. Ее вернули назад. Но в каком качестве и в каком виде! У нее нет денег, ну просто ни копейки, нет и документов. Даже имущества никакого нет. Разве что часы на руке. Рублей сто-сто пятьдесят за дефицитный товар можно, пожалуй, сторговать. Да только пока продашь и найдешь, где продать, и того, кто купит, можно и с голоду околоть. А кушать хочется сейчас, и даже очень. Выменять часы на хлеб? И Соне сразу вспомнилась печальная особа, английская книжная героиня Джейн Эйр, предлагавшая за булку шелковый платок. И ведь булку-то ей не дали! Но даже если Соне повезет и часы она продаст, хотя бы и на улице Советской Армии у гостиницы, дальше-то что? На сто рублей долго не протянешь. А жить где? Ни на один советский постоянный двор Соню не пустят, она несовершеннолетняя и без паспорта. Комнату ей, школьнице, никто не сдаст. А вот в милицию еще как! А что она скажет в милиции? Правду? Ну, в этом случае, по крайней мере, казенная койка и пропитание в дурдоме ей гарантировано. Нет, все выйдет еще хуже. Начнут устанавливать личность, запросят родителей на Чкалова, а те скажут, что с их Сонеи все в порядке. А вдруг папа и мама хотя бы ради интереса примчатся в отделение? И что они увидят? Вторую Соню, как две капли воды похожую на первую. И спят оба тут же в милиции или сжальтся и отведут домой до выяснения обстоятельств. Соня затрепетала при одной мысли о встрече с самой собой. Что она скажет себе, как объяснит происшедшее? Мол, детка, не беспокойся – твое будущее определено, и нет в нем ничего хорошего. Тоже мне подарочек. А ведь в этом случае с ней, Сонеи, может, никаких несчастий и не произойдет, если она будет знать обо всем от другой Сони. То есть от себя самой. А тогда ей не придется прыгать с подоконника. А тогда зачем Соне второй шанс и что она вообще делает на бульваре? Соня запуталась. Может, у мудрых, ученых людей и есть объяснение подобному парадоксу – какая-нибудь теория относительности или еще нечто в этом же роде. Но Сониных мозгов для понимания смысла и возможности последствий от встречи с самой собой явно было недостаточно. И Соня призвала от безнадежности на помощь здравый смысл.

Ее место в сегодняшней жизни занято. Бог вовсе не имел в виду его освободить и облегчить ей существование. Только второй шанс, а о большем она и не просила. ОН дал ей новое тело, дубликат, а уничтожить прежнее не захотел. И, наверное, был прав. Ведь тогда бы пришлось убить и ту ее, пятнадцатилетнюю душу. То есть Соню прошлую и нынешнюю.

Соня опять запуталась. Видимо, так надо. Видимо, ей нельзя ни в коем случае пересекаться с самой собой, а избрать новый путь. И исправлять ошибки. Легко сказать! Соня чуть было не расплакалась. Но не позволила себе. Наверное, она и вправду сильно изменилась, и из-за прыжка, и вообще. А с другой стороны, она взрослая, избитая жизнью, тридцатилетняя женщина, так неужели она не найдет выхода? Все равно деваться некуда, и дорога назад закрыта. А если бы и не так, возвращаться обратно к тоскливой бедности и Леве, к подоконнику и Димке ей совсем не хотелось.

Но с другой стороны, ничто и никто отныне не мешает ей стать богатой и счастливой. И никаких семейных и моральных ограничений впервые в жизни у Сони нет. Можно делать что хочешь и не давать ответа, и не искать оправданий. Это настоящая свобода, потому что ее, нынешней Сони Рудашевой, в природе попросту не существует. А та, которая существует, покупает в этот момент грядущую свободу баснословно дорогой ценой. И будет платить еще пятнадцать лет. До подоконника.

А Софья Алексеевна Фонштейн может даже называться каким ей угодно именем, отчеством и фамилией, тем паче что имя «Соня» никогда ей не нравилось. Правда, это дело десятое. А дело первое – найти для начала хотя бы еду и ночлег. Соня опять загрустила. Никому до нее не было никакого интереса. А ведь бульвар полон народа. Вон невдалеке изгибается волнами подвижная толпа жестикулирующих мужчин, а чуть ниже по бульвару – еще одна такая же

толпа, размером побольше. В первой, шумной и гротескной, бурно обсуждается недавний матч, принесший ничью «Черноморцу». Народ здесь попроще, с авоськами и собственной посудой, выражения – не для дамских ушей. Вторая же, солидная и возрастная, предается обстоятельному перемигиванию косточек артистам труппы московского театра, прибывшему недавно с гастролями. Кто на ком женат, да кто с кем развелся. Эти долго будут стоять, до самого вечера. Для бульвара дело обычное, особенно в выходные. И только Соня сидит одна, неприкаянная, голодная и бездомная.

Но тут на нее упала тень. Плотная и по форме человеческая.

– Эй, манюня, чего грустим на празднике трудового народа? – прозвучал над ней голос с безалаберной интонацией и далеким от интеллигентности выговором.

Соня подняла глаза. Сбоку от бульварной скамейки, рядом с ней, только руку протянуть, стоял вполне симпатичный и очень молодой человек, разодетый в пух и прах с некоторой чрезмерностью и явно с одесской толкучки. Как истый пижон-одессит, он небрежно поставил ногу в блестящем ботинке на кирпичину, призванную ограждать территорию газона, стряхивал пепел на траву и плевать хотел на запрещение «Не мусорить!».

Обычно к Соне на улицах и на бульваре и даже на приморских пляжах одесские бонвиваны никогда не приставали. Разве только смотрели на хорошенькую девчущку издали да перемигивались. И потому, что Соня никогда не ходила одна, а разве лишь с подругами и родителями, и потому, что по ней сразу было видно – домашний ребенок, не дай бог что, семейство голову оторвет. Опять же местная, не курортница, да и лет ей маловато для серьезных заигрываний. Теперь же все обстояло иначе. Юное ее тело пребывало на пятнадцатилетнем рубеже, через месяц уже и шестнадцать, а вот взгляд сине-голубых прозрачных глаз и общее, так сказать, выражение Сониного лица говорили о совсем другом возрасте. Да и печальная фигура ее демонстрировала досужим наблюдателям далеко не детское горе.

– Вы кто? – на всякий случай спросила молодого человека Соня.

– Я – Марик. Будем знакомы? – немедленно откликнулся парень и, отбросив сигарету прочь, манерно протянул Соне руку.

– Хорошо. Будем знакомы, – согласилась Соня и тоже протянула ладошку.

И оглядела Марика с головы до ног. Лет двадцать пять, а может, и меньше. И тут же Соня одернула себя. Ей-то уже не тридцать. А значит, этот Марик выглядит очень молодым и неподходящим только для той, прошедшей Софьи Алексеевны, а для действующей Сони он, прямо скажем, даже староват. А вообще-то он ничего. Чернявый, смуглый, кареглазый, черты лица достаточно тонкие, чтобы нести в себе некоторую изящность, но не настолько, чтобы обратиться в глупую незначительность. Соня улыбнулась. Марик тоже улыбнулся в ответ, и ровные его зубы показались Соне необычайно белыми, может, только из-за контраста с оливковым цветом его лица.

– И что мы скажем за себя? – спросил ее Марик, слегка сжав Сонину руку.

– В смысле? – не поняла его Соня.

– В смысле, я – Марик, а какое будет имя у девушки? – и Марик выжидающе наклонился к сидящей Соне, словно хотел услышать страшный секрет.

Ба, да ведь она же не сказала, как ее зовут! Совсем разучилась знакомиться с парнями. Правда, наука эта присутствовала в Сониной памяти по разным причинам в эмбрионально-зачаточном состоянии. Зато теперь! Господи, зато теперь можно постигать и азы и совершенство этого искусства в свое удовольствие, и никто не скажет «нет», не запретит и не отругает. Вот только какое имя назвать? Одна Соня Рудашева в Одессе уже имеется. Соня Фонштейн? Ни за что! И Соня спросила себя, кем больше всего на свете ей бы хотелось быть? И из памяти детства немедленно всплыло яркое, пошлое, завораживающее своей орнаментальной банальностью имя. И пусть, и наплевать, во втором ее шансе не станет отныне никаких условностей, и с сегодняшнего дня ее зовут...

– Инга! Меня зовут Инга! – почти выкрикнула Соня.

Марику ее новое имя, однако, несказанно понравилось, он даже тихонько присвистнул:

– Красиво-о! Девушке явно повезло с родителями. Фамилию оставим на потом. Для более близкого контакта. Идет?

– Еще бы! – охотно согласилась Инга, бывшая Соня, потому что фамилию ей еще предстояло нафантазировать, а за несколько секунд сделать это было непросто. Однако тут же она и подумала, что и фамилию можно принять любую, и проверить ее подлинность выйдет совершенно невозможным. Потому что нынешней Сони-Инги ни в каких бумагах не существует.

– Так как же, Инга, совершим променад за знакомство? – предложил Марик. Выражался он странно, даже в Одессе подобные словесные обороты редкость, а может, парень косил под какого-нибудь киношного героя, но не хватало образованности.

– А куда мы пойдем? – тут же спросила Соня, голод давал себя знать. – И давай будем на «ты»?

– Давай! Хочешь, пойдем в кафе или лучше на Морвокзал, я там обладаю репутацией в закрытом буфете.

– Лучше в кафе! – немедленно отозвалась Соня. Буфет тот Соня знала хорошо, да вот беда, и ее там знали тоже. Не раз ходили с отцом. А жаль, буфет славный.

– В кафе так в кафе, – согласился Марик и спросил: – Мороженое откушаем или что покрепче?

И видно было, что последний вопрос Марик задал только так, для порядку. Не мог не понимать, что перед ним школьница, и сам не верил в удачу случайного знакомства. Однако Соня, вернее уже Инга, так измучилась переживаниями за последние несколько часов, что не отказалась бы и выпить. Более того, это было ей необходимо.

– Что покрепче, – сказала Инга. И видимо, так сказала, что Марик моментом перестал усмехаться, посмотрел уже серьезно.

– Для красивой девушки не жалко и шампанского. В темпе вальса! Пошли? – и предложил шикарным жестом Инге руку, словно позировал перед кинокамерой.

– Пошли, – просто ответила Инга. Проблема с едой, по крайней мере, была решена. А там, как говорится, будем посмотреть.

### **Одесса. Август 1984 года. Улица им. Шолома Алейхема, дом 6. Бывшая Мясо-едовская.**

Был вечер, и было жарко. В открытое нараспашку окно ветер заносил уличную пыль и прелую вонь мусорных бачков, но уж лучше так, чем обливаться обморочным потом в мертвой духоте. Инга сидела на краю заваленной барахлом тахты, лениво перебирала одежды. Марик разрешил ей, конечно, выбирать из кучи что душе угодно, но Инга знала их финансовые обстоятельства лучше него и потому не давала разгуляться желаниям. За июльскую партию французской косметики еще было не до конца уплачено. Инга сама же и настояла на том, чтобы потянуть с долгом, а вырученные деньги вложить в демисезонные, джинсовые куртки и яркие, в рекламных ярлыках, ветровки. Эти-то куртки и ветровки да еще югославские спортивные костюмы по лицензии «PUMA» и валялись теперь вокруг нее на тахте. А через час за ними должен был явиться и купец.

– Знаешь, манюня, Стендаль хочет пять процентов сверху. За просроченный долг. Я мог бы его умыть, но в деловых кругах важна репутация? – сомневаясь и вопрошая, обратился к ней Марик, оторвавшись от скрупулезного процесса подсчета предполагаемой прибыли на тетрадном листке бумаги.

– Хочет – дай. Только не пять, а три. Сойдетесь, в конце концов, на четырех. И деловые круги утрутся твоей репутацией. А Стендаль тот еще жук.

Стендалем звали вечно молодящегося, лысеющего лектора-правоведа из Одесского университета, подпольного спекулянта и ростовщика, по слухам не брезговавшего и масштабными аферами с валютой капиталистических стран. Ладно, куда ни шло еще бонны из «Альбатроса» или чеки из «Березки», но валюта в больших объемах! Это уже круто по-настоящему, и здесь нужны высокие покровители. Впрочем, никто Стендалю за руку по 88-й не ловил и никто из одесских гешефтмахеров даже не мог похвастаться, что менял у Стендалю советские рубли на заморские марки, доллары, франки или, на худой конец, драхмы. А говорить можно разное. Стендалем же кандидата юридических наук Шумейко Зиновия Юльевича прозвали в узком кругу одесских барыг за излюбленное им выражение, состоящее из двух частей – вопроса и утверждения, кое Зиновий Юльевич обращал всякий раз к очередному деловому знакомому:

– Вы, мил человек, Стендалю читали? Не читали, а еще пытаетесь торговаться с образованным персонажем!

Какое мог иметь отношение французский писатель, скажем, к партии французских же колгот, Зиновий Юльевич никогда не объяснял. Но этот его довод, лежащий вне всяких правил логики и здравого смысла, убийственно воздействовал на торговых оппонентов, которые, само собой, отродясь Стендалю не читали. А Ингу каждый раз при встрече с Зиновием Юльевичем занимала мысль, что бы предпринял Шумейко, если бы однажды на свой каверзный вопрос получил бы утвердительный ответ. Наверное, в следующей беседе Зиновий Юльевич уже бы интересовался, не читал ли «мил человек» Пруста или Адама Олеария, или еще какого неудобоваримого для среднеобразованного гражданина иностранного автора. Сама Инга, конечно же, читала и Стендалю, и Пруста, в оригинале и в переводе, и даже «Путешествие...» Адама Олеария было ей знакомо. Но Инга никогда не забывала и того обстоятельства, что отныне она лишь школьница, забившая на десятилетку, а никак не выпускница-краснодипломница столичного вуза. И старалась вести себя соответственно.

– Два да на семь пятьдесят, да на четыре... Черт, опять сбился! – подсадовал вслух Марик, зачеркивая столбики цифр на бумажном листе.

– Не мучайся, Мусик, наша чистая прибыль – три тысячи шестьсот рублей с копейками. Я давно подсчитала, – успокоила его Инга. – Так что и проценты Стендалю нас не разорят. Зато, если срочно понадобится «капуста», Зиновий пустит нас в огород. В смысле, одолжит наличные хорошему клиенту.

Марик только хмыкнул, не без зависти, но с удовольствием. К коммерческим способностям своей малолетней подруги он относился с неподдельным уважением.

А Инга, бывшая Соня, и сама себе удивлялась. Никогда не считала себя и даже мысленно не воображала эдакой бизнес-вумен, а скорее, наоборот, полагала за истину собственную жизненную финансовую беспомощность. И вот пожалуйста. Четырех месяцев не прошло с того дня, как Марик протянул ей руку на садовой скамейке, а Инга уже руководит им в коммерческих предприятиях. Да что говорить, с ее помощью Марик постепенно перемещается из разряда мелких розничных спекулянтов в ряды крепких оптовых середняков. Сам же Марик давно уже не смотрел на Ингу как на несмышленную девчонку, случайно подобранную им на бульваре для минутных развлечений. Он и не понял, как так вышло, что шестнадцатилетняя свистушка потихоньку прибрала к рукам и его самого, и его «дело». Марик, звезд с небес никогда не хватавший, явно не замечал ни взрослой трезвости суждений своей подруги, ни речевых, совсем недетских оборотов, ни яростной цепкости, иногда скользящей в ее взгляде, ни бешеного протеста, направленного неизвестно на что или кого.

Тогда, первого мая, пятнадцатилетняя Инга, само собой, отпив шампанского в парке Шевченко, поехала вместе с Мариком к нему домой, на улицу Шолома Алейхема, и не от бесстыдного распутства, а оттого, что деваться ей получалось совершенно некуда. Марик был рад и не рад одновременно. На первый взгляд, ему подфартило и он «зацепил» красивую, видную девчонку. А с другой стороны Луны, не хватало ему только статьи за совращение малолетних.

И Марик по дороге домой еще в такси постарался выяснить с простодушной ненавязчивостью общественный статус своей подружки. На все его расспросы Инга отвечала только, что родителей у нее теперь нет и она совершенно свободный человек.

– Как это – нет? – не понял тогда Марик и заволновался: – Ты из дому сбежала, что ли?

– Не бойся, к тебе искать не придут. Да и не сбежала я, – успокоила его Инга.

– Сирота из детдома? Что-то непохоже, – засомневался Марик.

– Ни из какого я не из детдома. А родителей нет, и все. И в школу я не хожу. Форма – это так просто, для маскировки, – придумывала на ходу Инга, слабо представляя, что ей врать дальше.

– Это как же? – окончательно вошел в умственный ступор Марик.

– А так. Я потом объясню, это долго. Или хочешь меня высадить? – с обидой спросила Инга.

Марик не хотел. Девушка ему нравилась, и даже очень. Редкое сочетание: совсем молоденькая, а умная не по возрасту и загадочная. Только как это так может быть, что нет родителей?

У Марика оказалась однокомнатная каморка на Молдаванке в перенаселенном клоповнике без мусоропровода, явно выкроенная в отдельную жилплощадь из какой-то другой, многокомнатной квартиры. Позднее в самодельное жилище провели воду и канализацию, отгородив дальний угол фанерой, а кухню заменяла электрическая плитка с двумя спиралями. Не коммуналка, и то хорошо. Вообще-то таких квартир в Одессе было великое множество, кое-как перестроенных из дореволюционных доходных домов. По сравнению с Мариком семья Рудашевых жила просто в царских условиях. Но Инге, собравшейся в худшем случае ночевать на вокзале, каморка показалась раем в миниатюре. Ей, несмотря ни на что, все теперь казалось Эдемом и Землей обетованной. Тем более что дом № 6 по бывшей Мясоедовской был знаменит. Именно в этом доме и в этом дворе проживал некогда легендарный Мишка Япончик. Забубенный грабитель, аферист и ворюга, Мишка, однако, за порядком в доме следил. И дворовая арка в те времена была украшена не менее легендарными по своей красоте чугунными воротами. При Мишке ворота цвели и сияли начищенными бляшками, а после его смерти, уже при Советской власти, на второй же день пропали неведомо куда. А дом, как был в дореволюционные годы населен исключительно мизераблями и одесскими апашами, так и по сей день свято давал приют в своих стенах сомнительным и скандальным элементам. Впрочем, дом Мишки Япончика, где все еще витал его посмертный дух, уголовку не жаловал и своих не выдавал, хотя в парадном запросто можно было схлопотать бутылкой по голове в виде дружественной соседской мести.

А у себя дома Марик засмутился, явно не зная, что ему делать с гостьей. Сразу тащить в постель неудобно, да и не тот случай. Постель, в данном интерьерном варианте широкая квадратная тахта, заменяла Марику и стол, и отчасти платяной шкаф, и прежде чем кого-то куда-то тащить, следовало сперва убрать хлам хотя бы на пол. Но Инга уже решила здесь обосноваться. И каморка, и Марик, и его тахта бездомную самоубийцу вполне устраивали. И она, чтобы разрядить обстановку, спросила Марика, не найдется ли у него еще чего-нибудь выпить? Тут же, к их общей радости, в глубинах ветхого секретера обнаружилась бутылка вермута, и дело пошло.

А спустя час голая, пьяная и бесшабашная впервые в жизни Инга уже лежала в горячих объятиях пылкого Марика, когда вдруг вспомнила одно пикантное обстоятельство. Она же теперь снова девушка, вот чудеса! И задним умом подумала, что не стоит ей сейчас демонстрировать особенную прыть или опытность, а лучше явить некоторую девичью скромность. Впрочем, какая там опытность. Весь ее опыт остался на Бориса Галушкина в лице одного-единственного бывшего мужа Левы, и опытом это было трудно назвать. Механический секс порядочных и замученных проблемами людей, к тому же один из которых хронически равнодушен к другому. Без фантазий и страсти, а в последнее время – в старательной тишине рядом

с Димкиной кроваткой. Но и до рождения Димки тоже было так. Лева делал свое дело, взгромоздясь сверху, она терпела и молчала. Зато пристойно, чинно и благородно. Бабушка была бы довольна.

А теперь она получала удовольствие, да еще какое. Марик или не Марик, какая разница, хотя и Марик был хорош. Но разве можно сравнить вольную, почти животную любовь под алкогольным кайфом с прежним обыденным и скучным законным совокуплением, напоминавшим по форме принудительный, унылый социалистический труд. Инге даже захотелось смеяться, и она захихикала, замурыкала, чем вызвала у Марика новый приступ пылкой страсти. А потом она уснула, без мыслей и забот.

И, видит бог, проспала до утра. Марик и не думал ее будить и выгонять. Напротив, когда Инга проснулась, накормил ее завтраком, нелепым и холостяцким. Бутерброды с сыром и помидорами и тонизирующий напиток «Байкал», теплый и шипучий. Холодильника в его каморке не имелось. А Инга и тому была рада. Ей впервые в жизни молодой и красивый мужчина подавал завтрак в постель. Справедливости ради надо заметить, что более завтрак подавать все равно было некуда, Марик и сам ел на тахте, благо стол в его хоромах тоже отсутствовал. А самое главное, Марик явно не собирался отпускать ее от себя просто так, и, видимо, ему хотелось удержать свою гостью как можно дольше. Однако Инге уже следовало и объясниться. Пока ела бутерброды, соображала. Парень не из далеких и не мыслитель, потому и легенда может содержать в себе фантастические, в принципе непроверяемые элементы. И тут Инге пришла в голову идея, по сути сумасшедшая, но навеянная эмигрантским прошлым некоторых ее еврейских родственников.

– А знаешь, я и вправду сбежала. Только не из дома, а от родителей, – не дожидаясь расспросов, вдруг выпалила Инга, покончив с очередным сырным бутербродом.

– А есть разница? – спросил ее Марик, живо заинтересовавшийся предложенной темой.

– Есть. Мои родители – эмигранты. Получили израильскую визу и сейчас уже летят самолетом в Вену. По крайней мере, я на это очень надеюсь. А я от них сбежала на вокзале. Выпрыгнула из вагона, когда московский поезд тронулся. Они и не заметили. Не хочу я ни в Израиль, ни в Америку.

– Да они тебя, наверное, с фонарями ищут! А ты говоришь, летят в Вену! – удивился Марик.

– Дурак ты, а еще одессит! У них же виза и билеты, скажешь тоже. И документы они сдали, и квартиру, и вообще. Они даже не граждане Советского Союза. Если они пропустят самолет, то все. Останутся вне закона, а денег у нас на другие билеты нет и жить в Москве тоже негде. Еще старенькая бабушка и младшая сестра, ей год всего, – для убедительности насочиняла Инга. – Нет, они уже в Вену летят или прилетели. Переживают, конечно. Но я их предупреждала, что никуда не поеду, а они не верили.

– И что ты теперь будешь делать? Снова в школу пойдешь? – с отморозенным видом спросил Марик, совершенно утративший всякое соображение от ее сказочной брехни. Как можно выпрыгнуть из вагона в парадной школьной форме и с комсомольским значком, если ты едешь в Америку! Но Марика этот казус повествования нимало не смутил.

– Какая школа, ты что? У меня ведь тоже нет никаких документов! Всю семью лишили гражданства, и я теперь как бы не существую. Нет меня, и все!

– Да-а, это яйцо всмятку! – присвистнул Марик. – Может, тебе пойти сдать? Только не к мусорам. А лучше в райком или в Политбюро написать. Мол, так и так, желаю жить при коммунизме и строить там..., ну, чего-нибудь...

– Не хочу я жить при коммунизме, я у себя дома жить хочу, в Одессе. И строить тоже ничего не собираюсь. А сдаваться я не пойду, – решительно заявила Инга. – Упекут в какое-нибудь ПТУ, в общагу, маляром-штукатуром, я же школу не закончила и восемнадцати мне еще нет. Больно надо.

– Да уж, это у нас запросто, как на свечку дунуть. Тем более, если еврей, – посочувствовал ей Марик.

– Да нет, я русская, – немедленно отреклась от своих материнских корней Инга, бывшая Соня. – Отчим мой еврей, он всю кашу и заварил.

– А-а, тогда понятно. Только как же ты жить будешь? У тебя родственники есть?

– Никаких. Мама и бабушка уехали. Отец давно умер. В море утонул, – для жалости добавила Инга. И про себя перекрестилась. Папа ее, Алексей Валентинович, слава богу, жив-здоров, и многих лет ему. – Самое плохое, что у меня документов нет. Даже метрики, а паспорт я еще не получала.

Марик ничего ей не ответил, задумался. И надолго. Целую бутылку «Байкала» выпил, пока думал. Инга ему не мешала. Впрочем, позднее Инга узнала, что это было вовсе не от нерешительности, а просто с мыслительным процессом у Марика не водилось тесной дружбы. А когда ей уже стало казаться, что пора тихо и незаметно удалиться и похоронить свои птичьи права на Марикову каморку, мыслитель заговорил.

– Слушай, а ты можешь мне пообещать, что... ну, что ты не смоешься от меня, в смысле не сделаешь ноги? – тихо спросил ее Марик и несколько смущенно обосновал свой вопрос: – Я же все-таки у тебя первый.

– Не сбегу, – поклялась Инга, подняв два пальца, как делал часто ее отец, обещая маме не «проводать» друзей в рейс до утра. Она еще ничего не понимала, но начало было интригующим.

– Я бы попробовал достать тебе ксиву. Может и прокатить, если подмазать кого надо, – предложил Марик, – только имя у тебя будет другое.

– Жаль, мне мое нравится, – на всякий случай возразила Инга. Но перспектива получения паспорта, пусть и на имя Павсикакии Клушиной, ее весьма прельщала.

– Может, имя удастся переделать, может, только фамилию, – успокоил ее Марик. И объяснил суть дела.

Когда-то давно у Марика была младшая сестра, почти Ингина ровесница, только на год старше. Но несколько лет назад, после того как умерла от диабета мать, служившая по совместительству уборщицей и билетершей в филармонии в здании Новой биржи, сестра эта сбежала с каким-то «кукольником», недавно отбывшим срок, и больше от нее не было ни слуху ни духу. Последний раз сестру якобы видели в Ялте года полтора назад, но это были последние вести с полей. О сестре Марик не жалел, считал ее пропащей и дешевой потаскухой. На это у него были серьезные основания – она с двенадцатилетнего возраста шлялась в порт к иностранным морякам и воровала без зазрения совести деньги – хорошо бы только у него, но и у большой матери. А только сестра паспорта так и не получила и до сих пор числилась на жилплощади.

– Вот мы с понтом и сделаем вид, что ты – это она. Метрику возьмем в ЗАГСе, скажем – потеряли. В метрике-то фотки нету. И все – будешь ты Марица Гундулич. А не захочешь – дадим еще денег и скажем, что имя ты желаешь заменить, потому что звучит паскудно. Это можно. Фамилию нельзя.

Самого Марика, кстати, звали полностью Марианн Гундулич. Семья его явно имела южнославянские корни, а мать, как оказалось, была молдаванкой из Кишинева. «Инга Гундулич» звучало тоже гадостно, но быть Марицей выходило еще хуже. Впрочем, в отсутствие выбора и Гундулич сойдет.

Таким образом, спустя всего месяц Соня Рудашева превратилась в Ингу Казимировну Гундулич, семнадцати лет, без определенных занятий. Марик денег не пожалел – и новенький паспорт с пропиской был отныне у Инги, что называется, в кармане. Она еще и документы в вечернюю школу подала, тот же Марик и пристроил ее на фиктивную работу судомойки в железнодорожном буфете центрального вокзала «Одесса-Главная». Конечно, никакую посуду Инга нигде не мыла, и без нее хватало желающих, и зарплату ее получал кто-то другой. Да

Марик бы в вокзальный общепит подругу ни за какие блага не отпустил – вряд ли любое иное место в Одессе имело более скверную репутацию, чем пресловутый буфет. Чего далеко ходить, если предыдущей бандерше, стоявшей на буфетном разливе, неизвестный лихой сокол ночью после смены перерезал горло ножом, из любви или из мести – непонятно.

А только у Инги теперь хватало и своих дел. В доме Мишки Япончика она прижилась, на удивление, легко, сумела не только войти в доверие к соседям, но и заслужила репутацию, выражавшуюся у жильцов в одной, но достаточно красноречивой фразе: «Мариковой девке палец в рот не клади – всю руку до кости обглодает». Никто, само собой, в явление заблудшей сестры ни на грош не поверил. Марицу в доме помнили хорошо, но и выдать не выдали, на фоне чужой грязи и своя незаметна – таков был один из девизов дома № 6. Судачить судачили – не без этого, – но только промеж себя. А Инга не переставала удивляться своей новой жизни, вернее, собственным удовлетворением от нее. Ей ли, вчерашней примерной домохозяйке и рафинированной до замученности еврейской женщине «с высшим образованием», якшаться со спекулянтами, жуликами и шулерами всех мастей, городской шпаной и раскрашенными, невежественными девками, не брезговавшими подрабатывать и проституцией! Но вот же, водилась с ними и чувствовала себя отлично. С теми, что потемней и попроще, Инга разбиралась быстро, скоро сообразив, что ими довольно легко выходит управлять. С теми же, что стояли на более высокой ступени социальной лестницы, подобно Стендалю, приходилось держать ухо востро. Но это было еще интересней.

Иногда она останавливалась и задумывалась над собой. Она пыталась найти генетические оправдания нынешним своим привязанностям и интересам и тут же находила объяснения. Видимо, она пошла в отца – не в том смысле, что почтенный инженер Рудашев имел склонность к беспутной жизни, а в том, что Алексей Валентинович мало того что не еврей, но и происхождения самого простонародного. Парнишка из Воркуты, сын водителя грузовика и складской сторожихи, Леха Рудашев как попал куренком в одесский Военный округ, так и отрубил до полного дембеля в рядах славной береговой погранслужбы. И очень уж понравилось ему на сытом и жарком Черноморье. И солнце тут, как у людей, заходит ежедневно, а не по полгода висит в углу над горизонтом, и море – купайся не хочу, и длинноногие девушки, загорелые и не в валенках и унтах, а в изящных туфельках и босоножках. И особенно понравился Лехе... Угадайте – что? – знаменитый Привоз. По сути это был всего лишь грязный колхозный рынок с увядающим букетом славного одесского колорита и специфического остроумия. Но Привоз Леху покорила. Это же надо – свободно можно прийти и купить яблоки и груши, арбузы и помидоры – да что там! – дыни и тexasкого сорта малину. А бычки и тарань, развешанные гирляндами над прилавками! Нет, Леха понял, что по уши влюбился и из этого города он не уедет ни за что и никогда.

А парнем Леха Рудашев был башковитым, физически сильным, морально устойчивым. В казарме балду не гонял, у начальства был на хорошем счету, даже в самодеятельности пел. И добился своего – дали ему целевую рекомендацию (спасибо полковому попу) не куда-нибудь, а в Одесский технологический институт, в то время гремевший по всей стране, а в будущем даже намеревавшийся утереть нос своему Массачусеттскому коллеге. А после, получив красный диплом, Леха, человек компанейский и не наивный, добился распределения в Одесский порт. И тут же влюбился второй раз – нет, конечно, не в порт, а в девушку. Загадочной еврейской нации. В еврейском вопросе инженер второго участка Рудашев разбирался слабо, вернее, не разбирался никак. В тундре Воркутинской области с евреями дело обстояло плохо, это же не олени! Потому и не понял поначалу, отчего он, работающий и перспективный, крепкий на выпивку и хозяйственный человек, так страшно не угодил родне своей невесты. А когда понял, только плюнул и все равно женился на Милене Гордеевне Гингольд, выпускнице МАРХИ и молодом архитекторе, гостившей в Одессе у близких родственников. Так на свет появилась Соня.

Только отец ее, Алексей Валентинович, по жизни оставшийся для многочисленных друзей просто Лехой, ни в какие противоправные авантюры не встречал, а если что и прирабатывал в порту сверх положенного и исключительно для и ради семьи, то меру знал и с законом был в ладу. И никакая простота никогда бы не заставила Алексея Валентиновича и на револьверный выстрел подойти к сегодняшнему одесскому гопнику и тем более иметь с ним дело. Но Инга решила не думать об этом. Может, такой была в ее случае божественная задумка дарованного второго шанса, чтобы начинать с самого низа. «Не с низа, а из дурно пахнущей клоаки», – поправило ее надоедливое alter ego, но Инга прогнала и его прочь. Ведь сказано же было – полная свобода – и хватит, точка. Насиделась в благонаправной тюрьме, и никто и ничто ей не указ. Она прекрасно знала, откуда в ее душе взялась сильнейшая злость на весь бывший «до подоконника» белый свет, и та злость получалась кстати и в данный момент очень помогала Инге выжить.

Впрочем, как уже было сказано, теперешняя жизнь Инге нравилась. И модные тряпки, и страстно влюбленный в нее Марик, и ночные попойки в кабаках, где были знакомые официанты и бармены и где за деньги можно было достать что угодно. Суматошная, бесшабашная жизнь. Но Инга не забывала и о делах. Вот и сейчас перекладывала на тахте товар, ожидала прихода Патриарха. Не настоящего, конечно. А Патриархом он был, оттого что был Моисеем. По имени. А полностью – Моисей Ираклиевич Гончарный. Юркий, тощий, пронырливый, с вечной седой щетиной на лице. Неизвестно, как Гончарный умудрялся, но щетина его всегда была одной и той же неизменной длины. Подстригает он ее, что ли, иногда думалось Инге. А только Моисей Ираклиевич уже много лет являлся одним из главных и старейших перекупщиков одесской толкучки. В каком-то смысле он и впрямь был Патриархом. И непременно по каждому своему делу бегал сам, как бальзаковский Гобсек, помощников не признавал.

Все знали: торговаться с Гончарным дохлый номер. Цену он давал раз и навсегда одну и ту же, чем выгодно отличался от других «айдов»-жучков, сначала безбожно занижавших таксу, а после, помаленьку, полегоньку, с кровопролитными боями, уступавшими толику-другую. Гончарный никогда не канителился. Он вечно спешил, на ходу бросал цифру, и если потенциальный продавец был недоволен, разворачивался и уходил, иногда бесповоротно насовсем. Цену Патриарх толкучки назначал не самую высокую и не всегда справедливую, но зато. Зато платил сразу по факту и без проволочек, а не так, как некоторые, в рассрочку, да на месяц, и набегайся потом полгода за своими кровными. К тому же у Гончарного были совершенно захватывающие связи в городском ОБХСС и многих отделениях милиции, потому не только самого Патриарха, но и его поставщиков обычно не трогали.

Попасть в зону внимания Патриарха было куда как не просто. Он был птицей совсем иного полета, чем Марик и даже чем многоумный Стендаль. А в повседневности с ним пересячься тоже выходило затруднительно. Пить Гончарный не пил, по шантанам не шлялся, места проживания никому не открывал, телефонным номером не делился. Зато частенько хаживал в синагогу. Молиться не молился, но каждую субботу давал на нужды молитвенного дома пятьдесят, а в большие праздники и сто рублей. У синагоги Инга-то его и подцепила. Патриарх, по слухам, был неравнодушен к «гочкам», особенно юным и околошкольного возраста. Но, зацепив, Инга повела шуку на крючке. Пока Патриарх Моисей не понял, что дело его пропащее, если он не протянет руку коммерческой помощи любовнику синеокой красавицы «гойки». А девица была ух как хороша! И мозги явно на своем месте. С такой и гешефт можно варить. А любовник ее, тьфу, пустышка, чалдон и рядовой «курьер», каких полно. Но, учитывая шестой десяток лет, тяжким грузом обременяющий его мужское достоинство, Гончарный был согласен терпеть и молодого любовника.

И вот, в силу договоренности, достигнутой ранее на словах, Гончарный должен явиться с минуты на минуту за товаром. Инга не представляла, как потащит в одиночку хлипкий «гомузник», пусть и до машины, престарелой «Победы», довольно нелегкие и громоздкие туши двух

огромных баулов. Видно, правду говорят – своя ноша не тянет, помогать же себе Гончарный никому не позволял. Но это, что называется, его проблемы. А вот Ингины проблемы начнутся потом. Гончарный, допустим, свою долю сделки выполнит, и тогда очередь встанет за Ингой. Ложиться с седым и противным на вид, слюнявым стариком ей не хотелось до омерзения, но и их с Мариком новорожденный бизнес был Инге тоже дорог. А с другой стороны, спала же она много лет с нелюбимым мужем – и ничего, считала это само собой разумеющимся. И заметьте, спала, можно сказать, почти за бесплатно. Не принимать же в расчет «синих» кур. А тут, если правильно подступиться к старику Гончарному, то прибыль может выйти нешуточная. Патриарх и подарков не пожалеет, и в деле подсобит. К тому же, ничего особенно извращенного от нее не требуется. Инга уже навела кое-какие справки и выяснила, что синагогальный жертвователь предпочитает игры в невинность и потому, если явить ему детскую застенчивость, вполне будет доволен. Загвоздка была только в сердечном друге Марике. Мелкий спекулянт и чуть обтесанный босьяк, он, однако, имел и принципы. К тому же был не на шутку влюблен в Ингу. Он и к приятелям-то ревновал частенько, просто за ласковое слово или улыбку, а тут старый козел с серьезными намерениями. И Инга знала – никакого Патриарха, пусть и на вторых ролях, Марик не потерпит, даже и «за ради бизнеса». Вышло – быть скандалу. Терять же Марика в обмен на старика Инге все же не хотелось. Но странное дело, как ни удобен ей был веселый фарцовщик с Молдаванки, Инга знала про себя, что, случись ей выбирать, и Марик останется в круглых дураках. И никакая благодарность и паспорт его сестры ничего тут не значат. Будто Гончарный при его-то связях не сможет раздобыть ей «ксиву»! Подлю, конечно, но что делать? Соня подлой не была, а вот про новорожденную Ингу этого уже не скажешь. Она сама себя не понимала порой и страшилась происходящих с ней перемен, но и отыграть назад что-либо уже не могла. Что-то непоправимо сломалось в день ее рокового московского полета, не шея и не позвоночник, а иной костяк, который держит на себе бестелесную душу. Но, может, все еще срастется? Безгрешная Соня долгие годы имела от еврейского Бога кукиш, так может, пришла пора ей нагрешить в русской вере, чтобы не уйти в конечном итоге из этой жизни с пустыми руками? Чего стоят самоотверженность и благородство и какая бывает за них награда, Инга уже знала и крайней сбоку более становиться не желала. А Патриарху на первых порах можно предложить и конспирацию, пусть тоже наиграется на старости лет в тайного любовника, вдруг понравится? Опять же, Гончарному выйдет меньше хлопот. Ну, да видно будет. Вот уже и стучат в дверь. Квартирного звонка, в том числе, у Марика отродясь не водилось.

Это и вправду был Гончарный. Взмыленный, щетинистый, вечно спешащий. И когда он только время на девочек находит? Удивительно.

Гончарный, не вступая в долгие переговоры и отказавшись наотрез от теплого пива, предложенного Мариком, молча кинул на пол две брезентовые, убойной прочности, облезлые сумки и замахал руками. Мол, давай, давай, не зевай! И то верно, ни к чему соседям знать лишнее. А слышимость в доме известно какая! Фанерная! Донести не донесут, в их жилом колодце имени Мишки Япончика это было бы сущее запахло. А вот грабануть могут, и еще как. Не в сберкассе же наличные тащить? Лишние вопросы тоже незачем.

Марик с показным усердием кинулся рассовывать шмотки по баулам. А Гончарный, в такт Мариковым движениям, каждую вещь отмечал в книжечке ему одному понятными значками. И одновременно считал в уме. Инга тоже считала. На всякий случай. Минут за пятнадцать барахло было распихано под завязку, а одна куртка уже и не взлезала, хоть режь ее на части. Тут и Марик опомнился, вещи-то он упаковал, а подруге ничего не оставил. И протянул ей, с виноватой улыбкой, нарядную «джинсу». В то же время просительно посмотрел на Гончарного, куртки-то были на счет. Патриарх коротко клюнул носом в знак согласия. Марик кивнул в ответ и принялся застегивать массивные ржавые железные молнии на обеих сумках. А Патриарх, улучив секундочку, выжидающе и стремительно взглянул на Ингу. И она улыбнулась, кокетливо опустила ресницы, одними губами выговорила: «в любое время» и изобразила

беззвучный поцелуй. Гончарный расцвел, как роза посередь навоза, потрепал себя за белесую щетину на подбородке.

А когда стали расплачиваться, то сумма, отсчитанная Патриархом в новеньких двадцатипятирублевых купюрах, не сошлась с той, что обозначилась в Ингином уме. Но она промолчала, потому что Гончарный дал на сто пятьдесят рублей больше. Как раз в разницу оставленной для Инги куртки. Вот тебе и первый подарок, еще ни за что. Моисей Ираклиевич Гончарный в эту минуту стал для Инги даже симпатичен. Нет, такого «дедушку» она ни за какие «марики» не упустит. Слава богу, она теперь не Соня. Та, бедная, сейчас едет в купейном вагоне в Москву, в обществе Кадика и дедушки Годи, и своей жирной бабки, оглашающей жалобами на духоту и проводниц весь состав скорого поезда «Одесса-Москва».

### **Москва. Козицкий переулоч. Ноябрь 1984 года.**

Соня стояла у окна и тихо плакала. Не от какой-то особенной обиды, а просто оттого, что снег на улице летел параллельно подоконнику. Это же надо, ноябрь месяц и такая метель! В родной Сониной Одессе тоже случались снегопады и холодные зимние ветры, да и ноябрьские унылые дожди мало способствовали хорошему настроению. Но все это было, так сказать, свое, родное. И это было там, в светлом приморском прошлом.

К московским же холодам Соня привыкала тяжело. Все время зябла, еще с сентября месяца, хотя бабка – тут надо отдать ей должное – кутала ее в теплые вещи с головы до ног и не разрешала и шагу ступить без шапки и мохерового шарфа. Да Соня и не возражала, но мерзла все равно страшно. Но холодно было даже не только на улице, сколько внутри нее самой и в доме, который она отныне вынужденно считала своим. Не в смысле температуры в градусах, а в смысле обстановки в напряженности. Ибо московский быт высокого семейства Гингольдов разительно отличался от привычного ей житья-бытья разудалой Чкаловской улицы, бывшей Большой Арнаутской.

Трехкомнатная барская квартира в переулке рядом со знаменитым Елисеевским магазином цвела высокомерной напыщенностью среди соседских коммуналок. Добытая правдами и неправдами дедушкой Годей, она как нельзя лучше подходила их чопорному, пусть и с оговорками, семейству. Сам дед Годя, Гордей Маркович Гингольд, с пятьдесят третьего года – генерал-майор в отставке МГБ СССР, а теперь доктор философии, защитивший диссертацию по научному коммунизму, возглавлял соименную его специальности кафедру в Педагогическом институте имени Крупской. А заодно, по совместительству, и замещал председателя Общества старых большевиков, ибо состоял в партии, страшно сказать, аж с двадцать четвертого года. Вступил еще шестнадцатилетним мальчишкой, минуя комсомол, что было по тем временам почти чудом. А все оттого, что выдал ОГПУ в Польше на растерзание собственного отца и двоюродного брата, бывших московских ювелиров и хранителей ценностей генерала Шкуро. И вообще, проявил себя убежденным ленинцем и человеком новой, революционной формации. Да еще всю Гражданскую войну отирался не где-нибудь, а в семействе покойного Яши Свердлова, пусть и на птичьих правах, но все-таки.

Гингольды были и сами по себе фамилией знаменитой. Весь старорежимный московский свет помнил его старшего брата Гришку, Герша Марковича, прежде срока скончавшегося в четырнадцатом году от излишеств и удовольствий, и его знаменитый, обитый алым бархатом английский автомобиль, шумно курсировавший вдоль Тверской и напоминавший передвижной бордель. А младший братец пришелся по вкусу Советской власти. Евреи тогда были еще в чести и занимали многие важные должности в государстве, а юный Годя, помимо всех других своих достоинств, имел к тому же замечательно длинный, чуткий нос. Этот солидный, с горбинкой агрегат улавливал малейшие колебания верховных ветров еще прежде, чем те превращались в штормовые бури, а сам Годя никогда не имел привычки свистеть на море. Так он счастливо пережил и сталинские времена, начав самостоятельную карьеру с должности ученого

секретаря академика Комарова, которого и упек благополучно в места не столь отдаленные, а под конец войны, уже при всех регалиях, командовал особым отделом контрразведки. Арест Берии нанес дедушке Годе, что называется, удар под дых. Из МГБ пришлось уйти в почетную отставку, хорошо еще не упрятали в Матросскую Тишину, хотя и могли. Но вывернулся, как всегда, сдав при этом кучу недогадливого народа. И осел на почетной синекуре, и даже стал доктором наук. А при Брежневe был возвращен на внештатную работу с извинениями и определен надзирать за старыми «пердунами от большевизма». К этой должности дедушке Годе теперь полагались казенная дачка на ярославском направлении и служебный автомобиль, чтобы перевозить его генеральские мощи с заседания на квартиру. А было дедушке Годе уже семьдесят четыре.

Для бабки же, дочери одесского зубного протезиста, брак с одним из Гингольдов был в свое время удачливым, выигрышным билетом наверх. Юная Фирочка, Эсфирь Лазаревна Хацкелевич, приехала тогда для поступления в столичный медицинский институт и со слезными просьбами была определена отцом на проживание к богатым и дальним родственникам, близким другом которых и состоял молодой полковник Гингольд. Фигуристая, сероглазая и строгая дочь зубодера, к тому же на пятнадцать лет младше, произвела на полковника неизгладимое впечатление. По тогдашним меркам найти приличную еврейскую жену было не так-то просто, да еще из знакомой семьи, и полковник нет-нет да и засматривался на медицинскую студенточку, прикидывал. И решил выждать, дать барышне хотя бы доучиться до диплома. Но проучиться бабке пришлось недолго, так как грянула война. Институт подлежал эвакуации из Москвы, и, чтобы не потерять из виду потенциальную невесту, Гордей Маркович сделал Фирочке предложение, которое немедленно и с радостью было принято. И бабка поехала в эвакуацию уже как полковничья жена, с соответствующим продовольственным аттестатом и привилегиями. А ее еврейский отец так и остался с матерью в Одессе. И только после войны в результате длительных расследований, спасибо тому же МГБ, удалось установить, что родители Фирочки, Лазарь и Рахиль Хацкелевичи, не успели сбежать от немцев и сгинули навсегда в известковой яме жуткого Бабьего Яра.

Соня историю семьи слышала не раз и не два, в различных, но, в общем-то, похожих интерпретациях, и понимала, что родословную ей пересказывают неспроста, а как бы призывают к полному забвению лишних и случайных воркутинских корней безвестных Рудашевых, в пользу сиятельного еврейского семейства. И она старалась, хотя и знала, что полностью смыть клеймо «полукровки» ей не удастся никогда. К примеру, взять хотя бы язык. У Гингольдов местечковый идиш не признавали, зато подпольными усилиями «научали» детей ивриту и расхожему в Израиле гибриднему языку под общеупотребительным названием «англит». Так, на всякий случай. Учили всех, кроме Сони. И когда в доме обсуждались внутренние проблемы или перетряхивались чужие пикантные обстоятельства, то и бабка, и дед Года, и Кадик переходили на «родной» диалект. И тем самым как бы отделяли от себя Соню. Ей было обидно, но она терпела. А через месяц, благодаря, видимо, природным способностям, смогла уже понимать иврит на слух. Но никогда своего понимания не обнаруживала, шестым чувством постигая возможные неприятности. Впрочем, дедушка Года единственную свою внучку не обижал и домашнему террору не подвергал. Но и на защиту не вставал, даже ввиду явной несправедливости. С одной стороны, не желал выслушивать истеричные охи и вздохи бабки, а с другой – Сонино душевное состояние было старому большевику несколько безразлично. Что требуется от хорошего главы еврейского семейства? Чтобы оно семейство ни в чем не знало недостатка, чтобы отпрыски его были качественно благоустроены в высшие учебные заведения и чтобы в домашнем быту и особенно на людях соблюдалась строгая еврейская мораль высшего сорта. Эти неписанные заповеди дед Года исполнял всю свою жизнь на отлично, а более его ничто не волновало. Собственные интересы отставного генерала лежали в плоскости дорогостоящего и достаточно элитного хобби: коллекционировании раритетных книжных изданий и

старинных полотен голландских мастеров, из коих дед, непонятно за какие заслуги, почитал особенно школу Снайдерса. Часть коллекции дед, в порядке компенсации за обиды еврейского народа, вывез из побежденной Германии, часть скупил после войны, часть обходными маневрами добыл из «конфиската» своего учреждения. Своими книжными сокровищами генерал наслаждался исключительно в одиночестве, запираясь для этого в кабинете, который на ночь превращался в спальню сына Кадика.

Вообще, территориальный вопрос у Гингольдов был решен весьма оригинальным и для Сони трудно понятным образом. Комнат в квартире, как уже сказано, имелось ровно три. Плюс огромная кухня с отдельной нишей для проживания дореволюционной прислуги и заложенным кирпичом выходом на черную лестницу, длинный широкий коридор и вдобавок огромных размеров ванная, которая одна вполне могла сойти за комнату. Однако своего места в этой раскидистой квартире Соне не было определено, впрочем, и для Кадика оно существовало лишь в известных пределах. Слева по коридору располагались обширная гостиная, рядом кабинет, по другой стене – спальня стариков Гингольдов и кухня с удобствами. Кадик ночевал в кабинете и имел право работать за отцовским столом, если только генерал не предавался созерцанию библиографических редкостей. Иначе Кадик вместе со всеми своими бумажками и печатной машинкой выселялся в гостиную за большой обеденный стол, где, как считалось, он пишет диссертацию. По крайней мере, бабка почти ежедневно проверяла, сколько листов исчертил, сколько страниц исписал или отпечатал ее дорогой и обожаемый сыночек. Сыночку было уже тридцать пять, и в недалеком будущем ему светила лысина на кудрявой макушке и хроническая импотенция в противоположном районе тела, но для бабушки такие пустяки не имели значения. Бабка теперь проверяла его диссертационные труды, как ранее школьные уроки. Но только в количественном отношении. Вряд ли рядовой детский врач мог много смыслить в проектировании и эксплуатации трубопроводов. Сам Кадик числился за «керосинкой» в должности младшего преподавателя и ныне находился в академическом годовом отпуске для написания кандидатской. У Сони тоже не было права на отдельную комнату. Бабушка отчего-то полагала, что собственная комната – это нездоровое баловство, а каждый ребенок существовать должен непременно на глазах, во избежание появления дурных наклонностей. Соня уверенно считала, что бабушке просто-напросто до чертиков нравится шпионить и отравлять жизнь окружающим. С личными вещами дело обстояло так же. Бабка без стеснений могла рыться в ее школьной сумке, одежде и карманах, и даже великовозрастному Кадику никогда не удавалось избежать досмотра. Только служебный портфель дедушки Годи и его личные бумаги в кабинете находились в святой неприкосновенности. Но он был единственным человеком в доме, злить которого бабка побаивалась, и не без оснований. Эсфирь Лазаревна всю свою жизнь зависела от строгого мужа и была ему обязана, о чем дед Годи ей и напоминал при каждом сомнительном случае поведения.

Так и вышло, что отныне Соня спала в гостиной на диване и непременно с открытой дверью, чтобы бабка могла слышать каждый звук. Но это скорее было формальной практикой унижения, потому что по ночам бабка дрыхла – ковровой бомбардировкой не добудишься – и храпела при этом, как простуженный носорог. А Соня днем и ночью ощущала себя в новом доме, будто ограбленный догола прохожий в шумной толпе, и приспособлялась к распорядку с муками. У папы с мамой она привыкла к собственной, пусть небольшой, комнатке, куда никто не лез без спросу, не вламывался без стука и куда можно было приглашать подруг и одноклассников. И даже наезды родни из Москвы хоть и превращали их всего лишь двухкомнатную квартиру (зато с большой лоджией, где летом свободно можно было уложить на ночь трех-четыре человека) в настоящий кагал, но это была своя квартира, и Сонины права все равно за ней сохранялись. А теперь ей приходилось в лучшем случае делать уроки в гостиной, а если ее занимал Кадик со своей бесконечной диссертацией, то и на кухне. И бабка все время стояла над душой – точнее усаживалась в кресло или на узкий диванчик кухонного «уголка» и делала

вид, что вяжет крючком безобразные и никому не нужные салфеточки. И то и дело зыркала на Соню – насколько усердно та занимается. Этот учебный год был последним, и с самого сентября к Соне стали ходить репетиторы – преподаватели-подхалимы из дедушкиного института. Великое ли дело поступить в педагогический, если есть знания и есть влиятельный родственник! Но нет, бабка все время талдычила, что Гингольды не смеют позориться, и Соня должна выглядеть на экзаменах лучше всех, и чтобы люди сказали, и так далее... Не по улицам же ей шляться и бездельничать у телевизора? Ребенок из хорошей семьи должен трудиться, не поднимая головы от книг, а по кино и кафе ходят одни русские «шлемазлы». Однажды Соня заикнулась было, что с дедушкиными связями и ее способностями и любовью к языкам она могла бы претендовать на место в куда более престижном МГИМО или в институте имени Мориса Тореза, но в ответ получила только лишнюю дозу напыщенных, брызжущих слюной оскорблений. По словам бабки выходило, что там учатся одни «ахунэ» и «паскудстве литваки». Что означало последнее загадочное выражение и какой класс людей оно в себе определяло, Соня так никогда и не выяснила, а у бабки не спрашивала, все равно ничего хорошего бы не услышала. С педагогическим же было просто – там бабка всю могла продолжать морочить внучке голову и не давать жить спокойно.

А по улицам, киношкам и кафешкам ходили Сонины сверстники и одноклассники, модные, эмансипированные девушки с распущенными волосами, с карманными деньгами и в сопровождении кавалеров. Словом, школьная молодежь из старших классов жила обычной жизнью. И школа Соне была определена куда как хорошая, с английским уклоном, простых детей с улицы туда не брали. Правда, Соня в этой школе чувствовала себя одинокой и нелепой, как бегемот в бескрайней степи. И являла для одноклассников такое же диво – с уроков на уроки и ни шагу в сторону. Да еще ее бабка еженедельно, ни разу не пропустив, шастала к директорисе, таскала коробки дефицитных конфет и не давала житья, выпытывая об успехах внучки. Директриса и учителя мужественно терпели бабушкины атаки, зная ее скандальность и умение насолить при желании там, где надо. На Соне же все это вымещалось косвенным, но весьма чувствительным образом. Ее вежливо и нарочно бойкотировали со всех сторон. Ставили хорошие и отличные отметки и подчеркнuto не обращали на нее внимания помимо уроков. А очень скоро примеру учителей последовали и ее одноклассники. Грубить не грубили, даже мальчишки, но девчонки, проходя мимо, подчеркнuto поджимали губы или вовсе смотрели, как сквозь пустое место. Интеллигентно и очень обидно. И то сказать, Соня даже внешне выглядела истинной белой вороной.

Конечно, в доме Гингольдов ей ни в чем не отказывали – а то стыда бы не обобрались от родственников и близких еврейских знакомых. Конфеты и сладости выдавали, правда, в награду, как совсем маленькой. Но зато какие это были конфеты! Из дедушкиных спецпайков и подношений коллег и нуждающихся в его протекции. Правда, бабка, протягивая Соне коробку или кулек, могла запросто сказать:

– Вот эти, с орешком, не бери! Это Кадику, его любимые, – и зорко смотрела, чтобы Соня взяла правильно.

Хуже было с одеждой. Бабка не выносила на органическом уровне слова «джинсы» или «мини-юбки» и одевала бедную Соню на свой вкус. Точнее, шила у портнихи. Потому что на бабкин вкус в магазине купить что-либо было совершенно невозможно. Шили Соне из умопомрачительно дорогих тканей платья и пальто, даже шубку и шапку из беличьих шкурок, школьную форму, блузки, юбки, только что не белье. И все это выглядело, как последний кошмар тифозного умирающего – пышные банты и рюшки, оборки и баски, прилаженные к мешковидным кофточкам и платьицам, упаси бог подчеркнуть фигуру, и обязательно одежды ее должны были спускаться до середины икры. Особенно ненавидела Соня дорогий парадный выходной наряд из прозрачного нежно-сиреневого японского шелка. Таковую ткань, да в руки бы настоящей моднице! Сумасшедшее по красоте платье могло бы получиться. А вышел без-

образный балахон на двойной атласной подкладке, страхующей от прозрачности, сшитый на статую беременной колхозницы, с косым воротом и пришпандоренным к нему сбоку белым двойным бантом, который один привел бы в содрогание даже выдавшего виды криминалиста-патологоанатома.

Все надетое на ней было дорого, уродливо и старомодно, за исключением разве что туфель и сапожек. Тут уж дед настоял. Девушка в его понимании могла ходить исключительно на высоких каблуках, и в этом генерал был неумолим. И Соня мучилась на высоченных танкетках и шпильках день за днем, зато приобрела неплохую походку. За этим бабка следила, и за это можно было сказать ей спасибо. Но Соне не хотелось. Эсфирь Лазаревна портняжным мелком чертила в коридоре длинную черту и объясняла, как правильно вдоль нее ходить: пятки – только строго по линии, носки чуть-чуть врозь. И нудела над Соней, пока та не добилась нужной постановки ноги.

А теперь Соня плакала у подоконника по родной Одессе и от метели, и от затаенной обиды, которую невозможно было высказать вслух. О том, чтобы пожаловаться, не могло быть и речи. Бабка немедленно бы обвинила внучку в черной неблагодарности, зашлась бы в истерике, прибежал бы дед, и для Сони вместо утешения получилась бы одна головная боль. К Кадику не стоило и подходить, Соню он невзлюбил еще с Одессы и с каждым днем в Москве относился к ней все хуже и хуже. И все из-за возможного наследства стариков. Соня и сейчас уже понимала из обрывков переговоров на иврите, что Кадик торгуется с дедом за будущую часть завещания в пользу сестры и племянницы и что бабка полностью на стороне младшего сына. Дедушке Годе можно было бы, конечно, жаловаться на трудности новой жизни, он бы не выдал, и Соня один раз так и сделала. В первый раз и в последний. Дед выслушал ее, одновременно разглядывая в лупу гравюры на древнем издании «Божественной комедии», потом погладил внучку по щеке и важно произнес:

– Ну, ничего, ничего. Все образуется, – и уткнулся далее в книгу.

Соня тогда постояла, постояла рядом, ничего не дождалась и вышла прочь из кабинета. Деду ее страдания были, что называется, «до фонаря».

Счастье еще, что Соню мало, совсем чуть-чуть занимали по домашнему хозяйству, но вскоре Соня стала сомневаться в счастливом качестве этого обстоятельства. Хоть какое было бы занятие, помимо бесконечных книжек. Постоянно проживающей и официальной домработницы у Гингольдов не было, по положению от государства она не полагалась, а оформлять по документам самим выходило непросто и накладно. Но уже много лет на семью работала соседка Тамара, квартирующая в полуподвальной коммуналке через подъезд, уборщица на полставки в поликлинике Моссовета и жена сильно пьющего паркетных дел мастера. Тетка Тамара и квартиру драила сверху донизу и «от» и «до», и стирала, и кашеварила, и даже ходила за недорогими общедоступными продуктами, в основном в хлебный и в овощной. И как смутно казалось Соне, до щекотки всех до одного Гингольдов ненавидела, хотя и получала от них денег несравнимо более, чем от мытья больничных полов. Самое смешное, что Соне она, единственная из глубокого домохозяйственного своего подполья, сочувствовала, хотя внешне и при бабке смотрела сурово. Как и положено добросовестной прислуге в любые времена и в любых семейных благоустроениях, тетка Тамара знала куда больше, чем ей было определено от хозяев, и впускала в уши даже то, что никогда не говорилось при ней вслух. Сочувствие же ее Соне выражалось в тихом ворчании, включавшемся, как только Соня в одиночестве появлялась вблизи нее, и тетка Тамара немедленно обрывала сетования, едва бабка или иной член семейства показывались в зоне ее внимания. Ворчания же, бессвязные по форме, содержали критически-жалостливые, явно антисемитские высказывания:

– Занесло травиночку в иудин репейник, а то девка видная, им, что на зуб, что в кулак, едино переломят. Каждому-то видать, наша, костромская, не в мать, а что выйдет? Измордуют, некрещеные, господи помилуй. – Тетка Тамара была еще и верующей. И дальше уже к Соне,

кормя ее на кухне после занятий: – Ешь саечку, ешь, чай не ваша маца. Сама пекла, на дрожжах, не покупное-то. И варенице мажь, пока Кадька усю банку не ужрал.

Соня была рада и не рада чужому сочувствию. Казалось, Тамара каждый раз и каждый день, пусть и не нарочно, подчеркивала ее жертвенное положение. И от этого делалось на душе еще более хмуρο и безнадежно.

И вот теперь Соня плакала, а снег все летел и летел, и уже даже не вдоль подоконника, а закручивался вьюгой куда-то вверх, словно, вопреки предназначению, не желал падать на холодную землю. Но слезы пришлось срочно утереть. С прогулки по магазинам вдоль улицы Горького – так, больше поглазеть и потолкаться, чем с конкретным делом, – возвратилась бабушка, Эсфирь Лазаревна. А Соня, вот беда, должна была как раз в это время не следить за снежными аномалиями, а давным-давно повторять урок к приходу репетитора по литературе. Соня немедленно, едва успела, мышкой тихой скользнула за стол в гостиной. Слава богу, книги она разложила заранее. А через пять, может, десять минут бабушка, недовольно суровая, топая под тяжестью ста десяти килограммов, стала в дверях и позвала:

– Софья! Иди со мной! – и, не дожидаясь от внучки ответа, вышла в глубь квартиры.

Соня немедленно встала из-за стола. Когда бабушка обращалась к ней полным именем, вместо обычного «Соня», то выговор ожидался суровый. Неужели бабушка успела засечь ее за бездельем? Впрочем, это маленькое отступление от образовательного усердия вряд ли бы заставило бабку употребить экстремальный призыв «Софья!» – максимум дело ограничилось бы занудным внушением. Значит, произошло нечто серьезное. Соня шла следом за бабушкой и старалась сообразить, чем же эдаким она успела нагрешить. На ум, однако, ничегошеньки совершенно не приходило. Скорее наоборот. Вот вчера даже, после очередного визита к школьной директрисе, бабушка и похвалила Соню, да еще оделила слащавой улыбкой с конфетами «без орешков», зато с ананасным суфле, и разрешила почитать для удовольствия Фейхтвангера. Что же такого могла сотворить ее примерная внучка со вчерашнего дня, что потребовало злосчастного окрика «Софья!»?

Бабушка тем временем прошествовала в уборную. А Соня еще ничего не понимала: воду она за собой спускает – не детский сад, за светом, выключенным и не выключенным, всегда следит, бумажку туалетную бросает исключительно в специальное синенькое ведро с крышкой, чтоб не засорился жутко импортный немецкий унитаз. А бабка как раз и вытащила «гигиеническое» ведро на белый свет в прихожую.

– Софья, я сколько раз тебе говорила, чтобы ты сэкономила бумагу! Ты одна изводишь целый рулон в месяц! Вот видишь, видишь! – И бабушка – о ужас! – вытащила из ведра изгаженную слегка туалетную салфетку, сложенную вдвое, и стала потрясать ею прямо перед носом обалдевшей Сони. – Этим еще можно было бы пользоваться! Оторви раз, сверни, еще сверни и выбрасывай! Ты посмотри, посмотри, целая половина остается!

Боже, неужто она это серьезно?! У Сони отнялись и руки, и ноги! Да, правда, бабушка как-то раз, всего один раз, сказала, чтобы Соня использовала бумагу экономно. Только куда же экономней, не фунтиком ведь ей подтираться? Соня и сэкономила в силу своего понимания процесса. А бабку тем временем несло дальше:

– Немедленно перебери бумагу и отдели чистые половинки, потом сложи на бачок, и будешь пользоваться ими еще раз! Я кому сказала?

За грозной фразой «я кому сказала» в случае неисполнения могла последовать не просто ругань, но и липкая оплеуха, но Соня на сей раз исполнить, что велено, не смогла. Ей от самой мысли перебирать засранные бумажки стало плохо и муторно до обморока. И она попробовала умолить «озорное чудище»:

– Бабулечка, не надо! Я обещаю, что никогда! Больше не буду... и в последний раз. Бабулечка, честное слово! Ну, пожалуйста! – и Соня трогательно сложила ладони одна к другой, будто на молитве.

– Софья, не надо передо мной унижаться! Ты наказана, и будешь разбирать бумагу, а я прослежу! – постановила бабка, монументально возвышаясь над ведром. И, видя Сонины страдальческие колебания, угрожающе подняла толстый наманикюренный палец: – Иначе, запомни, я приду в школу и всем расскажу, какая ты неряха!

Угроза была страшная и как воспитательная мера вполне могла быть приведена бабкой в исполнение. С нее станется. Ведь пожаловалась же бабушка классной руководительнице, что Соня грызет ногти, когда нервничает перед контрольной, и не наедине, а при всем народе, и девчонки до сих пор посмеиваются над ней. А в тот раз Соня и всего-то отказалась брать из дому бутерброды, чтобы не привлекать внимания в столовой своей сухой колбаской и дефицитным сыром. И ведь взяла же она те бутерброды в конце концов, но кары за непослушание все равно не избежала.

Бумажки попадались не только Сонины, что и понятно, перебирать пришлось за всем семейством. Отвратительный запах, омерзительный вид (а дядю Кадика от обжорства домашними блинками мучил на этой неделе понос) совершенно сломили Сонин дух. Стоя на коленях перед бабкой и ведром, она отделяла не изгаженные дерьмом половинки, и ей уже было все равно. Прикажи бабка это дерьмо есть, Соня бы подчинилась. Но и Эсфирь Лазаревна – благо на утонченные пытки считалась мастерицей – настроения внучки уловила, а перегнуть палку ей получалось неинтересно. И бабушка, удовлетворившись разбором половины ведра как достаточной мерой наказания, смилостивилась:

– Достаточно, Соня. Теперь иди и вымой руки. – Но с тревогой убедившись, что коленопреклоненная внучка не слышит ее, то ли от стыда, то ли от шока, бабка все же перепугалась: – Деточка, бабушка тебя любит, бабушка тебе только добра желает. Ты вырастешь – мне еще спасибо скажешь. Помой ручки, и я дам тебе яблочко.

И бабка положила слоновью длань на голову Соне, провела по волосам. Соня чуть не разревелась, прижалась к бабушкиному колену и зашептала:

– Я больше не буду. Никогда, никогда. Только и ты меня не заставляй копать в ведре, пожалуйста. Я стараюсь, – тут Соня все же всхлипнула, – я стараюсь быть хорошей! Я же слушаюсь! А ты злишься.

– Я не злюсь, – миролюбиво сказала бабка. Соня, обнявшая ее ноги, доставляла Эсфирь Лазаревне почти чувственное наслаждение. – Но ты должна понимать, чего стоит копейка и как она достается. А ты еще ничего в своей жизни не заработала. Можно двадцать раз сказать и без толку. И только на собственном опыте ты узнаешь, что почем. Ну, вставай, деточка, вставай.

Соня встала и пошла в ванную мыть руки. Она терла ладонки и пальцы куском пемзы, долго и тщательно, смотрела на ровную струйку воды, думала и не понимала. Ну, хорошо, ну, допустим. Деньги достаются трудом, Соня же не дурочка. Она видела, как вкалывал ее отец, частенько приходивший домой без ног и без нервов, как выстаивала за чертежной доской мама, когда в их городском проектном управлении случался аврал и работу приходилось забирать с собой. Рудашевы, да, жили в достатке, но далеко не в роскоши, денег не копили, так если немного на черный день, но и кусков за гостями не считали, мыла и сахара не прятали, а уж мерить туалетную бумагу никому бы и в голову не пришло. Хоть всю изгадь, а кончится, так можно и новую положить, а не сумеют достать, что вряд ли, так не расстроятся, как-нибудь перебытуются. Вон, полстраны газеткой подтирается, и ничего. А тут картины и пайки, книги и сбережения, антиквариат и персональные пенсии, один дед Годя каждый месяц со всех кормушек собирает больше тысячи рублей. Соня уже достаточно понимала иврит, чтобы переводить для себя денежно-хозяйственные разговоры. Уж из-за куска туалетной бумаги никто бы не разорился. И она сама, не тупая и не глухая, можно же и на словах объяснить, что значит «экономия». Было, было в бабкиных внушениях и методах воспитания нечто страшно неправильное, несправедливое! Но протестовать не хватало сил, слишком далеко зашла Соня по дороге безусловного подчинения. Но развернуться и отыграть все назад отчего-то не получа-

лось. Может, бабка и в самом деле знала лучше нее, как нужно жить по-еврейски? Может, в конце концов, Соня и скажет ей спасибо, после, когда-нибудь? Соня только на это и надеялась.

### **Одесса. Год 1987. Улица Мечникова. РОВД Ильичевского района.**

– Ну что, Инга Казимировна, или как там тебя, будем говорить? Или дальше прикажешь оформлять? Это у нас запросто. Раз, два и готово. Лебедь белая, – насмешливо вымолвил майор Казачук, усатый детина в штатском. – И пусть доблестное ГБ тобой занимается. По 88-й!

– Не надо, дяденька! – заныла Инга Казимировна Гундулич, уже зная, что вляпалась она по самое «не могу».

– Не надо, дяденька! – передразнил ее усатый Казачук, поглядел добродушно. – И сам не хочу. Разве я зверь? Я старый, тертый до дырки бублик, а не зверь. И таки вот что я тебе скажу. Видишь на мне погон с одной звездочкой? Не видишь, правильно. А почему? Потому что погон для ежедневного ношения мне, оперу, пока не положен. А положен вот этот задрипаный костюм. А я его хочу? Таки нет. Майор Казачук хочет погон с двумя звездочками, и сидеть в кресле, и давать другим ЦУ. С двумя звездочками, это уже форма, да! И это – моя ж... совсем на другом стуле.

– Я понимаю, дяденька! – прохныкала Инга. Она и так уже давным-давно все поняла.

– Понимает она. Это я тебе пока дяденька. А через пять минут уже и гражданин начальник.

– Я все-все расскажу, то есть напишу. Только помогите мне, гра-а-жданин нача-а-льник! – в голос заревела Инга и не притворялась. Ей и впрямь было страшно.

– Вот и умница, – тут же подбодрил ее Казачук. – Получишь год-другой за хулиганство в общественном месте и тунеядство. И не реви. По 88-й десятку бы сунули и привет. Надо же и мне с тебя навар поиметь? А может, еще условно дадут. Вот тебе бумажка для исповеди, а я не поп, пойду покурю. И чтоб без глупостей!

Казачук вышел, запер дверь на ключ. А Инга, все еще в состоянии непроходящего ужаса, взялась за карандаш. И задумалась, с чего бы ей начать. Чтобы поменьше досталось ей и побольше переложить на сердечного дружка Марика. Совесть ее не мучила. Потому что сожителя своего она предупреждала не раз, а он не внял, и вот теперь наступил законный финал – оба парятся в кутузке. А ведь все так хорошо шло.

За последние два с половиной года компания «Гончарный, Гундулич энд корпорейшн» добила немалых успехов. Сотрудничество вышло плодотворным для обеих сторон. А без Инги и вообще бы ничего не свершилось. Она, как канатоходец в балагане, плясала без страховки над ареной, блюла «статус кво» между молодым, но сладким любовником и старым, прожженным коммерсантом Гончарным. Патриарх сначала не очень был согласен мириться с треугольными отношениями, и роль тайного воздыхателя не казалась ему завидной. Но Инга так ловко повела дело, что Гончарный, всегда прислушивающийся к доводам здравого смысла, Марика и сам бы уже никуда не отпустил. Пусть молодой, пусть красивый, зато глупый и безопасный, Гончарный и Инга вертят им, как хотят. К тому же примерный исполнитель на посылках. А Моисей Ираклиевич, крути не крути, хорохорься не хорохорься, а годами не юноша. Приятно бывает, оказывается, переложить часть ноши на чужие плечи. Нет, конечно, никаких денежных расчетов Гончарный «альфонсу», как он про себя называл Марика, ни разу не доверил. Он и Инге-то их поручал с неохотой, но и отказать не мог. Уж очень захватила его эта «гоечка». Эх, будь Гончарный помоложе, так и женился бы, плевать, что скажут старцы из синагоги. Но на шестом десятке вышла бы одна только глупость.

За тщедушной, но и надежной спиной Патриарха вести коммерцию было милое дело. Марик бегал с сумками, а вскоре уже и ездил на «Москвиче», покупать машину получше осторожный Моисей Ираклиевич не велел. Инга договаривалась в вертепах с моряками, уже и обросла связями, кое-какие ей передал в управление Гончарный. В общем, в ее ведении

были доставка и расчет с некоторыми продавцами. Сам Патриарх по-прежнему дирижировал толкучкой. Инге туда соваться пока получалось преждевременно. Для тамошних воротил она состояла в статусе содержанки Гончарного, пусть и способной, но все-таки. К тому же многие свои сделки Моисей Ираклиевич заключал вовсе не на толкучке. А на знаменитом бульваре в кругу вроде бы праздных мужчин, которые, к Ингиному удивлению, как оказалось, обсуждали не только футбол и заезжих театральные гастролеры, а весьма крупный «шахер-махер».

В каморке «брата и сестры» Гундулич тем временем обжились: и холодильник с телевизором, и импортный, хоть и подержанный, магнитофон «Sharp», и дверь сменили на новую – просто так уже плечом не высадишь. Только с Мариком возникали у Инги проблемы. Вспыхивали до скандала и гасли в уверениях и слезах. Марик ревновал. Слухи и пересуды не могли не доходить до его ушей и были обидны. Инга же оправдывалась тем, что ездит с Гончарным исключительно по денежным делам и переговорам, куда Марика взять никак нельзя, потому что серьезные люди не поймут. Последний взрыв ревнивого негодования произошел как раз после недельного вояжа Инги в Ялту. Суматошные семь дней непрерывных развлечений, плюс небывалая щедрость со стороны Моисея Ираклиевича. Когда Патриарх сорил деньгами, Инга совершенно искренне закрывала глаза на его старческие недостатки – Гончарный получался для нее почти красавцем. А уж в уме Моисею Ираклиевичу никак нельзя было отказать. Он много знал и пожил от души, в общем, с ним выходило даже интересно. Гончарный тоже был довольно прозорлив и не скупился, видя воочию, что за деньги можно купить не только поддельную, но и почти настоящую любовь, и Ингу баловал. Хорошо еще, что с арифметическим счетом у Марика не водилось тесной дружбы, и всегда получалось списать подарки на якобы заработанную премию. К тому же не все и не всегда Инга несла прямо домой, а часть была надежно припрятана в тайне у самого Гончарного. Золотые украшения и пара сберкнижек на предьявителя, дорогая шуба (жаль, что из-за теплого климата и придирчивости Марика в ней нельзя покрасоваться) – все это мирно покоилось на квартире у Моисея Ираклиевича, на Сахалинчике, в Волжском переулке, где Инга чувствовала себя почти хозяйкой.

А тут еще подвернулся удачный обмен. Отставной моторист второго класса, а ныне инвалид второй же группы Мишка Свинолуи, алкаш и скандалист, разводился с женой. Гундуличам он был соседом, и оттого первым делом Свинолуи обратились к Инге. Мишка, согласный на размен, никак не желал съезжать из родимого дома, прочь от собутыльников и милейшего участкового лейтенанта Бульги, артачился и строил козни жене. А вот если бы Инга поучаствовала в сложном, многоэтапном разъезде с доплатой, всего-то в три тысячи рублей, то не пришлось бы ловить журавлей в небе. Гундуличам в этом случае досталась бы двухкомнатная квартира на том же этаже, на целых двадцать метров больше. Пусть тот же клоповник и вход с веранды и без горячей воды, но по сравнению с их каморкой выходил просто рай на одесской перенаселенной земле. И, конечно же, Инга согласилась. Двухкомнатную берлогу семейства Свинолуи, безусловно, со временем можно было бы обменять на что-нибудь более пристойное. К тому же Инга учитывала и текущий год. Еще пара лет, и в известный день Советская республика накроется по самые уши медным тазом, и тогда вообще можно будет покупать что угодно. В согласии с этим знанием Инга и копила ценности, и даже строго определила для себя срок, когда держать деревянные рубли на сберкнижке далее станет нельзя. Ну что ж. На накопленные средства она приобретет технику или одежду, а еще лучше компьютеры. Ведь сразу после падения режима и в России, и на Украине случится компьютерный бум. И вообще, тогда можно будет начинать настоящие, большие дела. Пригодится и Гончарный. Да плюс ее знание неотвратимого будущего! Инга оптимистично смотрела вперед. И вдруг, в одночасье, все лопнуло.

Во всем изначально виноват был Стендаль. По крайней мере, Инга так думала. А вышло следующее.

Слухи слухами, но и вони без дерьма не бывает. А лектор-правовед Стендаль-Шумейко и в действительности ворочал дела с валютой. Правда, нерегулярно и на случайной основе. Подвернется – не подвернется, а специально приключений не искал. Но его знали и, бывало, обращались. Однако в последний раз подобное обращение вызвало у Стендаля неподдельную тревогу. А в тревоге хорошо знакомый с советским законодательством товарищ Шумейко всегда шел в решительный отказ. Загвоздка же заключалась в том, что предложение содержало в себе огромную прибыль, получи такую единожды, и все – можешь удалиться на покой и не думать даже об обеспечении внуков. Вышли на Стендаля люди архисерьезные, иудейского вероисповедания, и желали они ни больше ни меньше, как произвести конвертацию крупной рублевой суммы в валюту любой солидной страны. Без разницы. А далее, как догадывался товарищ Шумейко, благо не дурак, видимо, планировался вывоз морем этой суммы за рубежи социалистической родины. На нужды эмигрантов или свои собственные. Ему бы насторожиться и задуматься, почему ревнители судеб одесских репатриантов обратились именно к нему, а не к иным лицам, постоянно вращающимся в валютной среде. Но сумма затмила разум и глаза. За один доллар еврейское содружество предлагало Шумейко аж четыре пятьдесят, а он мог взять, собирая деньги по частям, по два пятьдесят-три рубля за каждую единицу. Операция предполагалась долгоиграющая, потому что на обмен предстояло выставить потихоньку-полегоньку до пяти миллионов рублей. Первые партии, пробные и не самые великие, прошли удачно. Эмигрантские радетели были довольны и зарядили пушку на более крупный калибр. И тут Стендаль все же одумался. Отыграть обратно он уже не имел власти, иначе вся его прибыль могла закончиться и могилой, рисковать далее в одиночку становилось опасным. И он решил разделить возможные издержки тернистого валютного бизнеса с напарником. Предстояло только найти дурака. Но честного и исполнительного, а главное, без собственной инициативы. Далеко ходить не пришлось, благо Марик Гундулич в последние несколько лет зарекомендовал себя с самой наилучшей стороны и как дурак, и как безупречный исполнитель чужих дел. Вот его-то и определил для себя Стендаль на роль курьера. Случись чего – и Марик не выдаст, человек надежный, а Зиновий Юльевич как бы ни при чем. Шумейко, однако, чистосердечно и для собственных гарантий нарисовал для Марика возможную картину ареста и отсидки, но и успокоил. В тюрьме, не дай бог, конечно, Марика не бросят и сделают все, чтобы вытащить поскорее, и о сестре позаботятся, если он будет молчать, как дохлая гусеница. Но только никакой тюрьмы на самом деле для Марика выйти не может, потому что все схвачено. А вот прибыль грядет серьезная, и не век же ему за сестрину юбку держаться. Марик, что и разумелось наперед, даже не задался вопросом, отчего, если все схвачено, Стендаль, хитрый и с лабиринтом в одном месте, не идет на дело сам. А представил себе, что большой человек, наконец, оценил Марика по заслугам и берет с собой в компанию. Инге, желая доказать непонятно что, Марик совершенно ничего не сказал. А с Зиновием Юльевичем уже обо всем договорился. Заберет, отвезет, передаст и после совершит те же действия в обратном порядке. Шумейко за все обещал ему две тысячи рублей. Это для начала. Но вышла накладка.

Валюту Марик забрал, как и было условлено, но вот передать ее не получилось. Нужного человека, с которым Стендаль вел дела, срочно вызвали в Николаев. Приходилось поневоле ждать еще день. Крупную сумму в «зеленых» Зиновий Юльевич, понятно, не захотел держать у себя, а предложил Марика забрать деньги до завтра и припрятать аккуратненько дома. Марик, польщенный доверием, немедленно согласился. Надо ли говорить, что спрятать увесистую пачку «баксов» в двенадцатиметровой комнатенке потихоньку от Инги соображения у Марика не хватило. «Сестренка» тут же вывела его на чистую воду. И отчехвостила, не выбирая выражений. Но делать было нечего, от валюты требовалось срочно избавляться. Самым разумным рисовался выход немедленно отвезти деньги Стендалю, и пусть тот выкручивается как ему угодно. Но сработал проклятый менталитет заблудившегося Ингиного сознания, отчасти сохранивший и устои девяностых годов с их свободным по закону валютным обращением.

Страсти 88-й статьи ей были ведомы по вполне понятным причинам лишь понаслышке, а сама Инга уже жила мыслями в грядущих вольных временах рыночной экономики. И оттого доллары решили передать, как и следовало по уговору, завтрашним утром человеку из Николаева, а после уже ехать и выяснять отношения с ушлым Стендалем, чтоб оставил Марика в покое. Инга в процесс передачи денег вмешиваться не собиралась, только так – посидеть в машине неподалеку для подстраховки, не более.

И чтобы им было заглянуть в календарь! А на носу в ближайшем грядущем числе обозначился и «День милиции». И, стало быть, для его ударной встречи и будущих наград местные правоохранительные власти срочно добирали галочки. Знание будущего – это, безусловно, отличная штука, хоть и сомнительной полезности, а все же страховки от роковых случайностей она не дает. И кто же из них мог предположить, что в городе летучие корволанты милицейских гренадеров в спешном порядке досматривают мелких спекулянтов, а на дорогах особенно ловят пьяных и «леваков» и проверяют машины на угон.

«Москвич» семьи Гундулич, двигавшийся в направлении Водопроводной улицы, не успел миновать и парк Ильича, как бравый инспектор ГАИ выкинул перед ним свой жезл-зебру. Марик покорно притормозил.

– Только не дергайся, обычная проверка, – успокоила его Инга. – Дай ему трояк, но вежливо, вроде как виноват. Они это любят.

Но инспектору в этот день, к несчастью, не нужны были трешки и рубли, а позарез необходимы квитанции и протоколы официальных штрафов. Серенький «Москвич» ничего на первый взгляд не нарушил, но инспектор прослужил свое и знал, что не может такого стать, чтобы все соответствовало установленному порядку. И принялся усердно проверять.

Так, документы в ажуре, ладно. Скорость не превышал, знаки соблюдал, и не надо трешек, хотя и жаль, парень, видно, где-то схимичил, да разве признается, маяться с квитанцией кому же охота. Оставался последний, безотказный козырь.

– А ну-ка, товарищ, э-э, Марианн Казимирович, предъявите вашу аптечку! – торжествуяше молвил инспектор. Аптечка, коричневый дерматиновый саквояжик, лежала, как и полагается, возле заднего стекла, вопрос, содержит ли она предметы первой помощи или стакан с огурцом.

Марианн Казимирович, владелец серенького «Москвича», замер на месте и как-то обмяк, лицо его медленно приобретало цвет собственной машины. Ага, догадался инспектор, в машине женщина, наверняка жена, а в аптечке небось импортные кондомы или еще что. Ну, ничего, и он не садист, к тому же парень славный, не ерепенится. Обойдемся вежливо.

– Ну-коось, мы сами, – инспектор подмигнул обалдевшему водителю, мол, не журись, хлопче, мы осторожненько, жинка ничего и не узнает, и сунулся за аптечкой на заднее сиденье.

Он и не заметил, что «жинка» посерела еще больше, чем ее хлопеч, и замерла с открытым ртом, тут же от поразившего ее кошмара утратив дар речи.

А бравый инспектор тем временем уже лез задом наружу. Повернувшись к «Москвичу» спиной, прикрыл аптечку от «жинки» и еще раз подмигнул Марианну Казимировичу: дескать, не бойсь, все останется между нами, штраф выпишем за отсутствующий валидол. И стал проверять содержимое пухлой и тяжелой аптечки.

Аптечка содержала ни дать ни взять... такое, отчего и сам инспектор тоже утратил дар речи. Совершенно.

– Стой, зараза! – И очухавшийся инспектор с размаху опустил свой жезл на черепушку пытавшегося дать деру Марика. – А ну, ни с места! – это уже, выхватив из кобуры пистолет (правда, заряженный чистым воздухом), выкрикнул инспектор срочно покидавшей автомобиль девушке.

Марик лежал на земле, оглушенный ударом, дуло табельного оружия смотрело Инге в лицо, но сдаваться она не собиралась. Так. Вцепиться инспектору ногтями в рожу, выхватить

аптечку с валютой и бежать что есть сил. После аптечку в канализацию, и пусть доказывают. А пистолет? Ну и что, что пистолет. Не станет инспектор стрелять – сейчас еще, слава богу, не лихие девяностые, а мирные относительно времена. Да и заряжен ли ствол? Тоже не льком шиты и слышали, что гаишные «сеledки» служат больше для вида и устрашения, чем для всамделишной стрельбы. И Инга бросилась в бой. Он оказался коротким и кровавым. У инспектора в результате получились расцарапанными бровь и щека, а у Инги разбит нос. Сразив наглуую преступницу ударом в солнечное сплетение, дорожный блюстителъ порядка, грубо и поддав пинка, швырнул обмякшее тело на заднее сидение. А еще через секунду, пройдясь полосатой дубинкой по ребрам, поднял на ноги и Марика, от боли мигом пришедшего в себя.

Так они и поехали все вместе в «Москвиче». На переднем сидении за рулем неудачливый валютчик Марианн Казимирович, на заднем – инспектор с аптечкой и пистолетом наголо и стонущая у его колен, согнутая в три погибли Инга.

– Слышь, мусор, отпусти сестренку, – сиплым и одновременно сдавленным голосом попросил Марик инспектора, – она ни при чем, это мои «зеленые», мне и отвечать.

– Счас как дам за «мусора» по балде, по пояс в пол вгоню – побежишь ножками по дорожке заместо колес, – злобно откликнулся инспектор и на всякий случай легонько ткнул Марика дулом в ухо, – в милиции разберутся и с братишками, и с сестренками, мало счастья не покажется.

Инспектор ГАИ канителиться не стал, отвез в ближайшее отделение внутренних дел, заодно и погасил стародавний служебный должок майору Казачуку, которого премного чтит и уважал за «понимательное» отношение к работникам дорожно-постовой службы.

Казачуку лично он и сдал и наглуую парочку, и аптечку с валютой. Парень в отказ идти не пожелал, да и взяли с поличным, плюс еще девица оказала сопротивление, но Казачуку того было маловато. Валюта – дело не его, положено передать куда следует, в управление госбезопасности, тем более что сумма особо крупная. Конечно, смежники не обидят в преддверии праздника, и у Казачука, в отличие от многих, с ребятами из КГБ были неплохие отношения. Но желательно бы и снять первый допрос, потом ему зачтется. И необязательно же передавать непременно двоих, в службе безопасности тоже люди не жадные, если с ними по-хорошему. Можно и так, как поется в песне: тебе половина и мне половина.

Парень, однако, оказался кремень. Во всем сознался, но и только. Никого не назвал и называть, видимо, не собирался, явно желая в этом деле идти единственным паровозом. И сестренку, по документам настоящую, пытался отмазать изо всех сил. Дескать, ничего она не знала и не ведала, а драться кинулась, испугавшись пистолета. Казачук через пять минут понял, что с братцем Марианном на этом можно и закругляться. Все было ясно. Чья-то шестерка, за молчание обещано хозяином, к тому же парень туп и уперт, будет стоять на своем, хоть до полусмерти излупи. А этого тоже нельзя, передать клиента далее нужно без телесных изъязнов. Да и у ребят из безопасности свои методы, вот пусть они и разбираются. Но девчонка – материал подходящий. Кажется, «ментовки» еще и не нюхала, тут можно пообещать и поугатать, и черт с ней, честно обменяться. Сестренка симпатичная и, видно, вляпалась по глупости – у Казачука дочь такого же возраста.

Девочка сломалась быстро. От одного упоминания перспективы десятилетней отсидки по строгому режиму и передачи дела в КГБ. Теперь сидит и пишет письма, может, что путное и изобразит. Письмо поедет с братцем дальше по назначению, а девчущку ждет малый срок за хулиганство и за тунеядство. Сама же призналась, что не учится и не работает, а только числится по ведомости уборщицей. Казачук был готов простить даже и тунеядство, если сочинение ее выйдет интересным.

А Инга строчила по бумаге с пулеметной скоростью. Рука летала поперек шероховатого листа, выводя строчки, а голова думала о другом. О том, что глупо было совать валюту в аптечку, побоялись, что если везти на себе, то может выйти плохо. Будто вышло хорошо! О

том, что Марика жалко и им определенно придется пожертвовать. А впрочем, он ей не брат и сам виноват. Инга его валютой спекулировать не посылала. Что Стендаль гад, и надо постараться перевесить на него главную вину, что дядька из Николаева, как утверждал Марик, связан с деятелями из синагоги, жалко, она не знает с кем. Что ей страшно до смерти и не хочется в тюрьму даже и на год. Что она докатилась до позора и ареста и что ниже падать ей уже некуда. Было скверно, стыдно и одиноко. И она писала, писала. Ничего не скажешь, славная новая жизнь у нее получилась. Вот так второй шанс!

Потом вернулся Казачук. Прочитал, присвистнул. А после похвалил и пообещал, что их договор остается в силе.

– Куда меня теперь, гражданин начальник? – просительно и робко спросила Инга. Ей уже рисовались камеры, набитые уголовницами, нары и параши.

– А? Что? – оторвался от своих бумаг Казачук. – Куда, куда? Посидишь пока в предварилковке, а как твоего братца Марика заберут, тогда с тобой и решим. О мере пресечения. Будешь умницей, выпущу под подписку до суда. Хотя это вряд ли, врать не буду. Но спокойную камеру обещаю, – выдал утешительный приз майор. Перед ним уже маячило серьезное служебное поощрение второй долгожданной звездочкой.

Ингу скоро увели. Заставили сдать кошелек с пятнадцатью рублями, золотые колечко и кулон на цепочке, наручные часы. Далее ее ждала временная камера. Молодой и разбитной сержант повел ее по коридору, руки назад. И тут Инге в горячке обрушившейся на нее беды пришла спасительная идея.

– Гражданин сержант, – захныкала она, чуть повернув голову к сопровождающему ее милиционеру, – гражданин сержант, пожалуйста! Дедушка у нас старенький, не знает, что случилось, будет переживать. Один только звонок, умоляю! Я вам номер дам!

– Не положено! Ишь, ты, дедушка! У всех дедушки, бабушки, раньше надо было думать! – огрызнулся на нее сержант. Но как-то не слишком зло.

У Инги появилась некоторая надежда. Она стала скулить и просить еще жалобней и настойчивей:

– А уж дедушка бы вас отблагодарил бы! Честное слово. И я бы все-все вам отдала, да у меня и деньги, и колечки отобрали! Ну, хотите, я на колени перед вами стану, – и Инга развернулась в узком, пустом и темном коридоре, желая тут же бухнуться перед сержантом в унижении.

– Но-но, задержанная, встать немедленно! А то приму меры! – и сержант поднял Ингу за плечо, впрочем не грубо, и тут же вдруг жарко зашептал ей в ухо: – Все, говоришь, отдала бы?

– Все, все! – забожилась Инга, кое-что начиная понимать и надеяться.

– Ладно, заходи! – сержант игриво подтолкнул ее в абсолютно свободную от человеческого присутствия вонючую камеру. – С дедушкой после сочтемся.

Инга уже давно догадалась, какой платы хочет разбитной сержант, и это ее ничуть не покорило. Наоборот, такого удачного разрешения собственных проблем она и не ожидала. Подумаешь, молодой и здоровый парень, и лицом ничего себе, дело минутное. Инга даже получила удовольствие от его медвежьих объятий и романтичности тюремной обстановки. Страх понемногу отступал. Сержанта она обслужила по высшему классу и, будучи душой гораздо старше, чем телом, с некоторой долей материнской покровительственности.

– Пока моя смена, сиди себе тут одна, на здоровье. А я попозже и поесть принесу, – пообещал сержант, застегивая форму, Инга ему, видно, понравилась. – И сменщику скажу, чтоб не обижал, если задержишься надолго.

– Ты приходи! – кокетливо позвала его Инга. Но ей и жутковато было оставаться одной в гулком каземате.

– Да уж не откажусь, только служба. Сама понимаешь. Ладно, говори номер.

И Инга дала сержанту телефон Гончарного. Дело шло к вечеру, и Моисей Ираклиевич уже должен был вернуться домой, чтобы в пять часов отпить неизменный стакан ряженки для успешного опорожнения кишечника.

Неизвестно, что происходило наверху, во владениях майора Казачука, и как решилась участь Марика, а Ингу никто больше не беспокоил. Даже и любвеобильный сержант не приходил. Неужто обманул? Так хоть бы поесть принес! В голову от пустоты помещения и отсутствия занятий лезли темные и тоскливые мысли. Неужто ее и вправду ждет тюрьма? Ее, бывшую бабушкину внучку, интеллигентную женщину, докатившуюся черт знает до чего. И так ли уж лучше ее нынешнее положение? Тут ведь и подоконника нет. И нет исхода. И все же лучше. Лучше. Потому как обстоятельства жизни Инги зависят только от нее. От кулаков, мозгов, зубов, умения крутиться и царапаться и выживать. Только вот камера. Вдруг добродушный майор обвел ее вокруг пальца и теперь наматает ей срок на полную катушку? К чему ему Инга? Показания написаны, и, стало быть, прибыль получена авансом. Вот разве что Гончарный ее пожалеет и не забудет, захочет вступиться. Да полно, сможет ли он? Связи связями, но здесь валюта. Время, однако, шло, и сколько его прошло, было неведомо. Инге в мрачном камерном запустении и одиночестве казалось, что минули дни. Но когда она стала уже и отчаиваться в своем ожидании, за ней пришли. Не игривый сержант, а другой, снулый, как муха, тоскливый лейтенант повел ее из камеры прочь. Он же дал ей расписаться на подписке о невыезде и вернул все имущество: кошелек, кулон, кольцо и часы, даже все деньги до копейки оказались на месте.

А на выходе из отделения, светя фарами сквозь милицейский двор, в допотопной «Победе» ее ждал Гончарный собственной персоной.

### **Одесса. Волжский переулочок. Час спустя.**

– Инночка, девочка моя, передо мной, как перед богом, не крути! Ты даже представить себе не можешь, как серьезно дело! – Гончарный чуть не рвал на себе волосы, умоляя Ингу рассказать о произошедшем всю правду.

Инга и сама охотно бы доверилась Моисею Ираклиевичу, да было немного стыдно сообщать подробности ее пребывания у милицейских властей. А уж о том, чтобы поведать детали ее обмена с сержантом в пустой камере, вообще не могло идти речи. Да и зачем расстраивать Гончарного? Однако Инге определенно казалось, что подробности ее содержания под кратковременной стражей волнуют Патриарха менее всего. Что-то было не так. Что-то, чего она не знала. О том, как с испугу она сдала с потрохами Марика, не хотелось говорить из совестливых чувств. Не красил такой поступок Ингу. Но с другой стороны, Гончарный умница, он поймет, да и кто ему тот Марик? И Инга уступила мольбам Гончарного, стала рассказывать.

– Понимаешь, папочка, – так она всегда называла Моисея Ираклиевича, когда ластилась к нему с корыстной выгодой, – я же совершенно ничего не знала. А потом уже было поздно, когда мой дуралей эти «зеленые» домой притащил. Не в унитаз же их спускать? Да и засорился бы.

– Ох-охох! Лучше в унитаз! Лучше на растопку! А еще лучше ему в зад и в глотку их было затолкать до последней бумажки! Откуда? Что за деньги? – в десятый раз вопрошал Гончарный. – Ну, допустим, Зиновий, козел такой, их дал. Как к этому идиоту, Стендалю, могла приبلудиться такая сумма?

Инга, раз уж решила, выложила все откровенно. И про свой донос Казачуку, и про слухи, которые дошли до Марика о человеке из Николаева. Про деньги из синагоги она говорила осторожно. Во-первых, щадила чувства Патриарха, которому вечно мерещились антисемитские происки, а во-вторых, это ведь были только слухи.

– Ничего не понимаю, если бы наши переводили такие суммы, я бы знал. Ты говоришь, это была только первая партия? – На секунду Гончарный задумался в тревоге, но тут его перебила другая мысль: – Инночка, но как ты могла? Зачем ты написала про посыльного из Нико-

лаева? И кто бы это мог быть? Неужто...? Нет, невероятно, не понимаю. Господь Авраама! Ты хоть представляешь, во что ты влезла?

Не дожидаясь от Инги ответа, Гончарный вдруг лихорадочно стал надевать свой куцый синий рабочий плащ и ринулся из квартиры вон. На ходу только крикнул Инге:

– Никуда не уходи! Ни-ни! Даже носа на улицу! – И за ним захлопнулась входная дверь. А через минуту под окнами взревел древний мотор его «Победы».

А Инга заснула от переживаний на диване. Квартира Гончарного теперь была для нее надежной, спасительной крепостью, где можно отдохнуть и затаиться. И в Моисея Ираклиевича она верила, что в обиду не даст и вытащит из любой беды. Но спать ей пришлось недолго – меньше чем через час Гончарный вернулся. Встрепанный, в мыле, с сумасшедшими глазами.

– Вставай, девочка моя, вставай. Быстренько, быстренько. И на вокзал. Поезд через сорок минут, еще билет нужно достать! – закричал Гончарный бессмыслицу прямо из крохотной прихожей.

– Куда? Зачем? Почему через сорок минут? – Инга со сна ничего не могла понять.

– Ножки нужно уносить. Ой, беда! – запричитал Гончарный и путано объяснил страшное.

Деньги, данные в перевод Стендалю, оказались палеными, чернее украинской ночи. Они и в самом деле принадлежали воротилам из синагоги, и у Гончарного там имелась часть. Номинально и в принципе. Потому что втайне от старцев и патриархов одесского еврейского гешефта те средства крутились на свой страх и риск молодыми да ранними рискованными поверенными. То есть деньги те попросту были украдены. Оттого и отмыть, обратить зажиленные рубли в валюту был призван глупый Стендаль. Никакой иной «свой» за превращение бы так не взялся, а сразу бы пошли вопросы. Поверенные же были и сами по себе лихие ребята, надеялись потом смыться с валютой в эмиграцию, уже и разрешение на выезд получили. Теперь же, вместо путешествия в град священный Иерусалим или, скажем, Нью-Йорк, отважным воришкам светила более реальная поездка на широкие просторы таежных красот. Не всем, конечно, а только лицам, известным Зиновию Юльевичу, которого сразу же после Ингиного указания и загребли в КГБ. Но остальные-то скорее всего пребудут целы и невредимы. Старцам уворованное вернут, и дело с концом. Уж больно поверенные ребята опасные, и синагоге тоже междуусобица ни к чему. Что хлипкий Стендаль потенциальный покойник, это ясно, Марику повезло больше. Ему даже выйдет помощь за проявленную твердость. А вот с Ингой хуже. Дело-то завертелось с ее признания!

– Надо тебе бежать, девочка. И до утра ждать нельзя. Шлема Дивный так и сказал: только за ради тебя, Мотя, и закроем глаза. Но николаевским шлемазлам он не указ. Хуже голово-резов с Молдаванки тамошние «бени крики», найдут, не будет пощады. И меня, старика, не пожалеют. А так, нет тебя. И весь разговор, – Гончарный все метался по комнате, запикивал в «толкучную» сумку Ингину шубку, еще кое-какие ее вещи, нашедшие у него пристанище. Собирал в полотняный мешочек на резинке ее украшения.

Инга сидела на диване, ничем Гончарному не помогала. Весь ужас ситуации ей был ясен, и ею овладело вялое равнодушие. Ехать так ехать, и пропади пропадом Гончарный вместе со своей синагогой и старцами и упырями-поверенными. Вот только куда ехать?

– Куда ехать? – спросила она как бы про себя, а вышло вслух.

– В Москву поедешь. Шиме я сообщу, он спрячет и примет, – сумбурно ответил ей Гончарный.

– Какой еще Шима? – на всякий случай спросила Инга.

– Хороший человек. Моей первой покойной жены двоюродный брат, – успокоил ее Гончарный сложным родством.

Для любого другого человека, далекого от нюансов внутрисемейных еврейских отношений, то было бы сомнительной рекомендацией. Но Инга-то знала: в определенных обстоятельствах это весьма близкий родственник.

– А как я в Москве буду без документов? – забеспокоилась Инга о самом насущном.  
– Ох ты боже мой! – Гончарный хлопнул себя по щеке. – А если бы забыл? Вот держи, – из внутреннего кармана плаща Моисей Ираклиевич достал целехонький Ингин паспорт.  
– А как же дело? У меня ведь подписка? – не поверила Инга.  
– Казачук дело закроет. Не сегодня, но закроет. И поезжай спокойно.  
– Он же вторую звездочку хотел? – усмехнулась Инга, вспомнив откровения майора.  
– Хотел, и таки перехотел. Где двадцать тысяч, а где та звездочка. Ему кооператив нужно строить для дочки. Мебель, свадьба, то да се. Не твоего ума забота, – оборвал Гончарный разговор. Но тут что-то вспомнил, бросился отдирать плинтус в углу комнаты. – Вот тебе пять тысяч на дорогу – все, что у меня здесь имеется. А сберкнижки оставь мне. Сама понимаешь. В кассу тебе за ними уже не дойти.

Гончарный бросил Инге на колени увесистый денежный брикет, обернутый в несколько слоев полиэтилена. Спасибо, хоть удружил на прощание, хотя в своем отношении к ней Гончарный никогда жадным не был. Сколько у нее лежало на книжке? Тысяч семь, остальное в товаре. Да бог с ними, Гончарному еще двадцать тысяч платить, целое состояние, только бы дело прикрыли. Чтоб оно провалилось, это дело, вместе с Казачуком. И Гончарного туда же, и Марика, надоели. Только из Одессы уезжать было жалко. Свой родной город Инга непритворно любила. Но и в Москве люди живут. И она жила. Пока в тоске не сиганула вниз. Оттого Москва в последние годы стойко ассоциировалась в ее воображении с темной полосой собственной заковыристой жизни. Но ей было бы и любопытно появиться теперь в Москве уже Ингой, свободной, умудренной и знающей, почем фунт лиха. Может, тогда столица бы и открыла ей свои чудеса и истинное лицо.

Фантастичность собственной судьбы Ингой ощущалась слабо и изредка. У Господа чудес много, и чего не бывает? Может, Инга и не одна такая, да только кто же знает и про себя расскажет? А в повседневной жизни, выходит, от знания будущего хоть на двадцать лет вперед пользы получается чуть. Слишком глобальны явления истории и слишком мала она, Инга, по сравнению с ними. Когда-то в далеком детстве ей изредка рисовались фантазии, что попади она или любой другой современный человек в прошедшие времена, в древний Рим, или, скажем, в Средние века к королевскому двору, или во Францию к мушкетерам, какого невиданного успеха или славы можно было бы достичь. А теперь вот знала: ничего бы не вышло, каждый должен жить в своем времени, ему предназначенном. И сегодняшний рядовой обыватель почти и не отличается от мещан и ремесленников всех иных эпох. Разве только умеет нажимать кнопки на телевизоре да крутить руль автомобиля, ну, еще считать на калькуляторе. Все равно, пороха не выдумает, самолет не построит, пенициллин из плесени не выделит. Да пусть даже ему ведомы секреты атомной бомбы: где, как и из чего ее собирать в Средние века и кому она на фиг там нужна? Даже современный врач выйдет в древности малограмотным лекарем, без аптек, рентгенов, без анализов и хирургических операционных. А нынешний академик – попробуй он изложить, к примеру, в старинном университете Болоньи теорию поля или принципы квантовой механики – хорошо еще, если избежит инквизиции и костра. А то объявят юродивым еретиком, и дело с концом.

Так и с Ингой. Ну, хорошо, допустим, она знает, что Горбачева скоро свергнут, что Украина и Россия разойдутся прочь в детсадовских обидках «ты не пидай в мой горшок», что социалистическая экономика рухнет, а до капиталистической нос будет расти еще долго, что настанет разгул у преступности и похмелье у законности. Ну и что? Она же не генеральный секретарь, не член Политбюро, не президент, не премьер-министр и не сестра Артему Тарасову. Она Инга Гундулич, девушка со вторым шансом и простейшим устремлением на человеческое счастье. И рассчитывать может лишь на себя.

Однако, уже прощаясь в тамбуре вагона с расстроенным ее отъездом Моисеем Ираклиевичем, она сделала старику подарок. Под влиянием чувства благодарности и просто так.

– Папочка, – зашептала она в хрящеватое, вздрагивающее, будто у гончей, ухо Патриарха, – папочка, ты знай. В девяносто первом году, девятнадцатого августа, все рухнет. Не станет больше коммунистов, и партии их тоже не станет. И каждый будет продавать валюту как хочет. Ты знай. И не уезжай никуда. Здесь случатся большие дела.

Гончарный посмотрел на нее безумным взглядом, не понимая, сумасшедшая она или святая, поднял правую руку, желая перекреститься, но, видимо, вспомнил, что ему, иудею, крест не поможет, и руку опустил. После поцеловал Ингу в лоб, как дочь, положенную во гроб, утер слезу и вышел из вагона на темный ночной перрон.

А Инга махала ему из окна и думала. Вот, она сказала. Да будет ли польза от ее откровения хотя бы Гончарному? Вряд ли, и не стоит обольщаться. С Одессой она попрощалась.

### **Москва. Улица Новочеремушкинская, дом 44. Спустя неделю.**

– Ох, Мотя, удружил так удружил! Гормидор и хойших! – ворчал Шима, Семен Израилевич Катлер, владелец квартиры и нынешний Ингин домохозяин.

Он ворчал так уже целую неделю, с нарочитым неодобрением поглядывая на присутствующую в его владениях девушку из Одессы. Но не потому, что Инга ему мешала или была особенно обременительна. А просто Шима Катлер, вдовый и пожилой, но весьма имущий гражданин, давно благоустроивший детей и внуков, теперь сожительствовал с молодой, лет под сорок, русской женщиной, медсестрой районной поликлиники Анфисой Андреевной.

Анфиса Андреевна явно намеревалась склонить Шиму к законной женитьбе на себе, переехать в дом по Черемушкинской улице навсегда и с пропиской и оставить собственную квартиру взрослой дочери. А тут, как снег на ее пышно разубранную голову, из Одессы свалилась Инга. Еще более молодая и красивая. Анфиса Андреевна ревновала своего Шиму, подстрекала его против Инги и никому не давала житья. Вот бедному Шиме и приходилось делать строгий, недовольный, ворчливый вид. Но Инга уже поняла, что одесскому Моте, пусть и седьмая вода на киселе в смысле родни, Семен Израилевич отказать не мог. По ему одному ведомым причинам. Инга бы и сама съехала с радостью. И деньги имелись, и паспорт был в порядке. Но жилье, хотя бы и съемное, в один день не найдешь, не девяносто третий год, а с работой и пропиской все и вовсе получалось сложно.

Однако не сегодня-завтра ситуация должна была разрешиться и страхи Анфисы Андреевны подойти к концу. Шима договорился насчет места дворничихи в Монетном переулке и окрестностях, естественно, чисто номинально, никакие дворы Инга мести не собиралась. Вместо нее жить и получать зарплату должен был провинциальный парнишка, проваливший экзамен в «Строгановку» на отделение интерьерного дизайнера и теперь коротавший время в Москве до будущего года. Немного сложнее выходило с квартирой. Сперва Шима, желая сбавить незваную гостью, нашел первую попавшуюся комнату в коммуналке у метро «Пражская» на рабочей окраине. Но Инга, отнюдь на паперти не стоявшая, показала Шиме кукиш и пригрозила сообщить другу Моте о безобразиях. Угроза была пустой, выходить на связь с Гончарным ей пока выходило опасным, но Катлер о том не знал. И испугался. Видимо, его дружба с одесским Мотей носила характер отнюдь не формальный, но и деловой, и Семен Израилевич в тех отношениях получался стороной зависимой. Тут на помощь пришла Анфиса Андреевна, которая из кожи вон вылезла, но нашла решение и объявила Инге:

– Есть замечательный вариант! – и тут же заткнула своего Шиму: – Не бубни, сядь и успокойся. А вариант подходящий, только за квартирой надо следить и за котом – его оставляют.

Оказалось, что здесь же, недалеко, на медицинском участке Анфисы Андреевны, по улице Вавилова, нашлась семья, нуждавшаяся в услуге. Муж, жена и пятилетняя дочь *отбывали* по контракту в Алжир *строить* то ли нефтеперегонный завод, то ли фармацевтическую фабрику – вещи столь разные, что соединить одно с другим могла лишь беспокойная до глупости Анфиса Андреевна. Но это было неважно. Свою однокомнатную квартиру улучшенной

планировки африканские переселенцы хотели срочно сдать в надежные руки и задорого, а в виде нагрузки оставляли сиамского кота. Инга была при деньгах, Анфиса Андреевна дала ей лучшие рекомендации, принимающая сторона назначила смотрины. И если Инга им подойдет, то спустя еще неделю можно будет переезжать.

Понятное дело – Инга уж постаралась произвести на отъезжающее в Алжир семейство наиболее благоприятное впечатление, включила на полную мощность бабушкино светское воспитание и подзабытую интеллигентную утонченность. С семейством договорились на триста рублей в месяц – плата вперед за полгода. Остальные по возвращению в законный отпуск. Оставалось только дожидаться отбытия семьи.

Анфиса Андреевна ввиду успеха переговоров от радости даже накрыла стол. Впрочем, женщиной она была невредной, хотя и глуповатой. А случись Инга на вид страшна, как смертный грех, или стара годами, так Анфиса Андреевна отнеслась бы к ней с сочувствием и участием. Однако Ингу она и побаивалась, уж очень непростой ей показалась приезжая юная, но не по возрасту умудренная одесситка. В будущем Анфиса Андреевна готова была и дружить с Ингой на расстоянии от своего Шимы, даже своим невеликим умом понимая, что из знакомства с подобной деловой особой может произойти немалая выгода.

Семен Израилевич тоже в долгу не остался, окончательно закрыл расчет с Гончарным:

– На будущий год могу поспособствовать, устроить в Текстильный институт. И вообще, обращайся, если что. А Моте скажи, милая, что старый Шима не подкачал – что просили, сделал. И еще сделает, если окажется нужда.

Что же, в Текстильный так в Текстильный. Почему предлагался столь странный вуз, Инга не спрашивала. И такой сойдет.

– И вам спасибо, Семен Израилевич, и вы обращайтесь, – в свою очередь предложила Инга. Заметила усмешку в глазах Катлера и коварно добавила: – Вы не смейтесь, Семен Израилевич, это вам сейчас от меня мало пользы. А кто может сказать, что завтра с вами будет? Лишняя дружеская рука не помешает. Тем более такая рука, которая твердо знает, что ей делать дальше.

Шима Катлер улыбаться перестал, немедленно заткнулся, на Ингу уже посмотрел с некоторым испугом и нарождающимся неподдельным восхищением.

Оставшуюся неделю до переезда Инга решила провести в разведке. Что, где, как и почему. Потолкаться по ресторанам и прочим модным местам, осмотреться, завести подруг своего полета, а там уж решить. Дел с Семеном Израилевичем она пока иметь не хотела – мало ли что, еврейский мир тесен, а николаевские лихачи вряд ли позабыли так скоро об ее существовании. Да и смыслом нового своего шанса Инга полагала отныне русскую сторону родительского наследства, вновь возвращаться в иудейские, путаные и строгие кварталы ей не хотелось. К тому же имелся и определенный риск наткнуться на Соню, оставшуюся в прошлом.

Впрочем, нынешнюю Соню, бывшую себя, Инга видела мельком. Невольно пошла в торговые ряды улицы Горького, в Елисеевский и «Подарки», заглянула в «Армению». В общем, покрутилась в окрестностях Козицкого переулка. В будний день, после пяти. И ведь знала про себя, что именно в это время есть вероятность встретить Соню в бывшей булочной Филиппова, может, именно поэтому и пошла. Неосознанно и втайне от себя самой. И увидела сквозь стекло, в очереди к кассам, узнала по драповому пальто с куницей на воротнике, дорогому и гробообразному сооружению все той же давней портнихи, разглядела и грустное, бледное лицо, свободное даже от намека на косметику (в институт краситься не полагалось), расстроилась и поняла, что пришла зря. Не нужна ей та Соня и горе ее тоже ни к чему. Прошло, проехало, и нечего травить душу. Пусть покупает свою булку и половину «бородинского» и идет своей дорогой, а она, Инга, пойдет своей. Что кончено, то кончено, и не стоит того, чтобы возвращаться. Инга поспешно покинула булочную. А вскоре оттуда ушла и Соня.

### **Москва. Козицкий переулок. Под Новый 1988 год.**

Стол в доме у Гингольдов к новогоднему празднику планировали загодя. Считали число приглашенных гостей, заготавливали провизию, обсуждали меню. Дедушка Годя сам в гости ходить не любил, а к себе приглашал с оглядкой, оттого люди на торжествах в Козицком переулке зачастую случались одни и те же. Собственно, их можно было с полным правом назвать узким кругом приближенных семьи Гингольд. Они представляли собой высший сорт советского и, возможно, зарубежного еврейства, мало похожий на обычную, среднюю, многотерпеливую интеллигенцию и ремесленных мастеров, вынужденных в нынешних условиях выживать, крутиться в поисках средств или попросту эмигрировать. Гингольды и их окружение, им подобное, легко заигрывали с властью, в случае нужды шли на любые идейные уступки, кричали «ура!» Брежневу, Хрущеву и Андропову, совсем не тяготились добытыми партбилетами. И держались ухватисто друг за дружку – Полянские, Азбели, Берлины, Вейцы, все высокоставленные, родовитые, благоденствующие при любом строе и укладе.

Все пять тесно связанных между собой московских кланов, давным-давно породнившиеся детьми, когда это было возможно, сходились три раза в году на территории Гингольдов в полном составе. На днях рождения бабушки и дедушки и тридцать первого декабря. Праздник Международного женского дня традиционно отмечали у Полянских, но не оттого, что чтили 8 Марта, а просто потому, что Раечка, Рахиль Иосифовна Полянская, ближайшая бабушкина подруга, родилась именно в этот день. Первое мая и Седьмое ноября отмечали условными застольями каждый у себя дома, в силу привычки подчинения и демонстрации лояльности к существующей власти. У Гингольдов в эти значимые советские праздничные дни случались и посторонние гости, не имевшие прямого отношения к их кругу и дому. Захаживали старинные сослуживцы дедушки Годи, а ныне персональные пенсионеры, люди, чем-то обязанные из страха или, напротив, нечто желавшие получить в виде услуги. Их принимали с уместной щедростью и некоторой вежливой торжественностью, лишенной, впрочем, сердечного тепла. Так, частым визитером на ноябрьские выходные у Гингольдов был один поэт, сочинявший славящие партию и комсомол оды и тексты на популярные песни в патриотических кинофильмах, некто Евгений Молдаковский. Его, еще совсем молодого парня, в конце тридцатых дедушка Годя спас по ходатайству дальних родственников от лагерей. И не столько в силу обязательств, а оттого, что пожалел тщедушного еврейского юношу, который ни при каких условиях не пережил бы тюрьмы. И Молдаковский всю жизнь генералу Гингольду за то был благодарен (чисто-сердечно или нет, бог его знает), но ежегодно являлся с подарками и с чем-то вроде доклада о своих успехах на литературном поприще. Однажды он привел с собой и другого молодого и начинающего, тоже Евгения, с мягкой украинской фамилией, и попросил у дедушки протекцию и для него. Мама хорошо запомнила тот день и случай, потом не раз пересказывала его Соне. То был единственный раз, когда Молдаковский напился у них в квартире, благо бабушка дежурила тем вечером в больнице. Он обнимал второго, молодого Евгения, отводил глаза от дедушки, плакал и все время читал громко одну и ту же эпиграмму:

Ты Евгений, я Евгений,  
Ты не гений, я не гений.  
Ты говно и я говно.  
Ты недавно, я давно.

Молодой Евгений не обижался, сам был пьяней пьяного, только опасливо косился на дедушку Годю, но тот лишь сочувственно кивал, мол, ничего, перемелется, пройдет и забудется.

Но сегодняшние обычные новогодние гости представляли собой совсем иной разбор. Соня их одновременно побаивалась и тихо ненавидела. За бесконечное неумное хвастовство,

за чванство и высокомерие, за подпольное пренебрежение всем и вся на свете, что не принадлежало к их кругу и образу жизни. За ханжескую боязнь любой мнимой «непристойности», вплоть до желания вынести смертный приговор каждому, кто посмеет произнести в их обществе слова «черт» или «дерьмо», за постоянную грызню вокруг воображаемого превосходства одного семейного клана над другим. Соня за последние четыре года наизусть знала их разговоры, вопросы и ответы, отрепетированные в многократных застольях эмоции и напыщенные тосты.

– Наша Эста такая умница, такая умница! Идет на золотую медаль! – вещала каждый раз бабушка Вейц о своей толстой, носатой внучке.

А Соня знала, что глупая курица Эста и деревянной медали бы не получила в школе для умственно отсталых детей, если бы не ее отец, крупнейший пластический хирург, который пол-Москвы числил в своих должниках.

– Мой Кадик дружит только с теми, у кого есть собственные машины! – хвасталась сама хозяйка Эсфирь Лазаревна, забывая о том, что синюю «пятерку» купил в подарок сыну дедушка Годя. А ее дорогой Кадик на машину зарабатывал бы до судных времен, имея лишь копеечную ставку старшего преподавателя.

Но бабушке все кивали с одобрением, машины имелись у каждого из их великовозрастных деток в любом из пяти семейств.

– Веня с Ларой этим летом отдохали в Карловых Варах, а где ваши Ляля и Мирочка? Ах, в Геленджике! Ну, что вы! Там климат не здоров. И вообще, сейчас принято ездить за границу, конечно, если у вас есть связи! – это басил Моисей Абрамович Азбель, пренеприятный молодящийся дед, с пышной копной седых волос и черными, в смоль, бровями, почти брежневскими, чем втайне гордился.

О том, как его младшая дочь Лара со своим мужем, пухлым младенцем Венечкой Берлином, чьи родители сидели тут же, ездила в Карловы Вары, Соня слыхала. В первый же день от жадности чета Берлинов нахлесталась даровой воды из целебных источников в таком количестве, что хватило бы напоить и коня Буденного. И, как следствие, весь двухнедельный тур муж и жена маялись в гостиничном номере с отчаянным поносом, пытаясь по недомыслию излечить его той же карловарской водицей, сильнейшим в мире слабительным средством. Даже на экскурсию в Прагу не попали, еле-еле добрались до дому, во время обратного пути в очередь обгадив самолетный туалет и выслушав язвительные оскорбления недовольных стюардесс.

Но нынешний Новый год обещал стать для Сони особенно противным. В первую очередь потому, что папа с мамой приехать в Москву не смогли. С одной стороны, для Сони это было даже некоторым облегчением, а с другой – отнимало в ее жизни самый главный праздничный момент. При папе с мамой бабушка умышленно и усиленно задабривала Соню, позволяла ей больше, чем обычно, щедро раздавала ей похвалы, а от Сони в свою очередь требовалось только высказывать радость от пребывания в Москве и бабушкиного воспитания. Но была тут и тяжелая ложка дегтя. Соня обижалась за отца, почти физически болела от его унижения. Он получался нарочно и изощренно в доме Гингольдов, как сбоку припека. Весьма нежелательная и лишняя. Не то чтобы его оскорбляли открыто, но постоянными шпильками давали понять, что он совсем недавно произошел от обезьяны и никогда не был парой их дочери, что его место в прихожей и на кухне рядом с Тamarой, а не в гостиной благородного семейства. И отец терпел. Более того, у тестя и тещи он преобразался совершенно, до неузнаваемости. Отважный и пробивной инженер хлопотливого и шумного одесского порта, душа любой компании, в Козицком переулке Алексей Валентинович Рудашев делался тише воды и ниже травы, молчаливо и даже робко соглашаясь со своей второсортностью, и как бы признавал вину. И рядом с его виной неумышленно, но неизбежно получалась виновной и мама. Оттого если родители и знали про Сонины мучения подле неумолимой и строгой бабушки, то с нарочитым воодушевлением делали вид, что ничего не замечают, а, напротив, бесконечно благодарны. В доме у

Гингольдов отец никогда не смотрел Соне прямо в глаза, а мама только натянуто улыбалась. И ни у кого из родителей так ни разу и не хватило смелости вступить за Соню. Может, и лучше было, что в этот Новый год они не приехали.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.